



Памятники исторической литературы



Николай Тейнц

ПЕРВЫЙ
РУССКИЙ
САМОДЕРЖЕЦ

Николай Эдуардович Гейнце

Первый русский самодержец

«Первый русский самодержец» — роман известного русского журналиста и прозаика Николая Эдуардовича Гейнце (1852–1913).

В основе романа — жизнь и свершения великого московского князя Ивана III, известного объединением русских земель в единое целое и административной реформой, в результате которой было достигнуто окончательное освобождение России из-под ордынского ига. Осуществляя власть из Москвы, Иван III сумел создать сильное Русское государство, которое с успехом противостояло внешнему врагу...

Содержание

| | |
|---|------|
| От Издателя | 0007 |
| Часть первая Господин или государь? | 0009 |
| I В Новгороде | 0009 |
| II В тереме Марфы | 0018 |
| III Клятва | 0031 |
| IV Среди спасителей отечества | 0039 |
| V Новгородская бывальщина | 0044 |
| VI Чурчило | 0052 |
| VII Вече | 0057 |
| VIII Бунт | 0063 |
| IX В келье Феофила | 0071 |
| X Ответ великому князю | 0077 |
| XI На берегу Волхова | 0083 |
| XII В доме Фомы | 0094 |
| XIII В Чертовом ущелье | 0107 |
| XIV Терем под Москвою | 0112 |
| XV Поздние гости | 0119 |
| XVI История терема | 0127 |
| XVII Рассказ Савелия | 0134 |
| XVIII Рассказ Агафьи | 0142 |
| XIX На пути к Москве | 0149 |
| XX Москва в 1477 году | 0157 |
| XXI В Кремле | 0165 |
| XXII Царь | 0171 |
| XXIII Начало новгородской смуты | 0178 |

| | |
|--|------|
| XXIV Польская интрига | 0184 |
| XXV Война | 0190 |
| XXVI В доме князя Стриги-Оболенского . . . | 0196 |
| XXVII В палатах великокняжеских | 0203 |
| XXVIII Пред лицом великого князя | 0211 |
| Часть вторая Под власть Москвы | 0218 |
| I На берегу Наровы | 0218 |
| II Пленник | 0226 |
| III Павел-колдун | 0231 |
| IV Бегство | 0240 |
| V Замок Гельмст | 0246 |
| VI Весть о русских | 0255 |
| VII Два соперника | 0265 |
| VIII Гритлих | 0275 |
| IX Свидание | 0285 |
| X В московской думной палате | 0296 |
| XI Увещательная грамота | 0304 |
| XII Под стяг московского князя | 0311 |
| XIII Выступление и поход | 0317 |
| XIV Новгородские перебежчики | 0325 |
| XV Новгородское посольство | 0331 |
| XVI Перед осадой | 0339 |
| XVII Ворон ворону глаза не выклюет | 0348 |
| XVIII Спасение Гритлиха | 0357 |
| XIX Среди земляков | 0366 |
| XX Ряженые в замке | 0374 |
| XXI За славу, за Эмму! | 0382 |
| XXII В подземелье | 0390 |

| | |
|---|------|
| XXIII Пожар | 0400 |
| XXIV Гибель Эммы | 0408 |
| XXV Под Новгородом | 0416 |
| XXVI Единоборство сына с отцом | 0423 |
| XXVII Прерванное обручение | 0431 |
| XXVIII Признание посольства Назария | 0440 |
| XXIX Гаданье | 0448 |
| XXX Свадьба среди боя | 0457 |
| XXXI Арест вечевого колокола и Марфы Посадницы | 0464 |
| XXXII Послесловие | 0472 |

Николай Эдуардович Гейнце Первый русский самодержец

От Издателя

«Памятники исторической литературы» — новая серия электронных книг Мультимедийного Издательства Стрельбицкого.

В эту серию вошли произведения самых различных жанров: исторические романы и повести, научные труды по истории, научно-популярные очерки и эссе, летописи, биографии, мемуары, и даже сочинения русских царей.

Объединяет их то, что практически каждая книга стала вехой, событием или неотъемлемой частью самой истории.

Это серия для тех, кто склонен не переписывать историю, а осмысливать ее, пользуясь первоисточниками без купюр и трактовок.

Пробудить живой интерес к истории, научить соотносить события прошлого и настоящего, открыть забытые имена, расширить исторический кругозор у читателей — вот миссия, которую несет читателям книжная серия «Памятники исторической литературы».

Читатели «Памятников исторической литературы» смогут прочесть произведения таких выдающихся российских и зарубежных историков и литераторов, как К. Биркин, К. Валишевский, Н. Гейнце, Н. Карамзин, Карл фон Клаузевиц, В. Ключевский, Д. Мережковский, Г. Сенкевич, С. Соловьев, Ф. Шиллер и др.

Книги этой серии будут полезны и интересны не только историкам, но и тем, кто любит читать исторические произведения, желает заполнить пробелы в знаниях или только собирается углубиться в изучение истории.

Часть первая Господин или государь?

I

В Новгороде

На дворе стоял сентябрь 1477 года.

Бледные осенние тучи бежали по небосклону. Из них сыпался мелкий частый дождь; отдаленные горы и вершины были покрыты как бы серебряною дымкою; ветер то бурливо завывал по ущельям, раскачивая макушки огромных дубов и шума последними желто-красными листьями молодого осинника, то взрывал гладкую поверхность реки Волхов, и тогда, пробужденная от своего величественного покоя, разгневанная стихия бурлила и клокотала, как кипяток.

Вдруг среди этих чудных по своему разнообразию звуков природы раздался звон вечернего колокола в Новгороде: раз, два... и залился. Вся окрестность, содрогнувшись, заныла от этого звука.

Народ, слыша его, повалил буйными и

нестройными толпами на Ярославово дворище, окружавшее вече, и буквально затопил его. Рогатки, заграждавшие улицы, раскидывались и трещали от напора толпы.

Призыв на вече раздался рано утром, и рогатки еще не были раздвинуты ярыжками[1].

— Что за невзгода снова грозитя на нас бедных! — восклицали иные бегущие вслух, а другие только думали то же про себя, спеша достигнуть двора Ярославлева, с которого несся вещей и пронзительный звук вечевого колокола.

Без всякого порядка, без малейшего уважения к этому священному месту, бросился народ к воротам и стучал в них чем попало, угрожая выломать их, или же сшибить камнями звонаря, если его тотчас не впустят в общее собрание.

Несколько караульных, — иные с бердышами, иные с пищалями, чинно разъезжавших вокруг двора, — были смяты, а полусонные ярыжки, шатавшиеся в изумлении и хлопотах во все стороны с поднятыми, присвоенными их должности палками, были биты ими же.

Наконец, ворота подались, скрипнули, народ еще теснее прижался к ним, и они начали медленно растворяться.

Толпа с шумом, подобно бурному потоку, бросилась в них, но вдруг отступила, как бы пораженная внезапным видением, окаменела и мгновенно оказалась с обнаженными головами.

Архиепископ Феофил, во всем облачении, с животворящим крестом в руках, сопровождаемый знатнейшими сановниками, посадниками города и клиром, появился перед народом.

— Люди дерзновенные! — раздался среди наступившей могильной тишины его грозный голос. — Образумьтесь! На что покушаетесь вы и перед кем? Разве забыли вы, ослушники богопротивные, пред чьим лицом предстоите? Смиритесь и приложите внимание к грамоте, которую прочтут вам. Но предваряю вас: размыслить хорошенько, о чем пишет к вам законный ваш князь. Вот наместник его, прибывший к нам вчера о вечерье.

Архиепископ указал рукою на бывшего тут же боярина Федора Давыдовича и продолжал:

— Не посрамите себя перед ним, дайте в душе вашей место голосу совести и отвечайте ему кротко, что внушит вам рассудок. Настало время решительное. Отечество наше зыблется. Вы сыны его; я пастырь ваш; мы должны поддержать, исцелить язвы, которые и прежде гнездились в самом сердце его! Обдумайте, решитесь и преклоните колена перед милосердной заступницей нашей, святой Софиею.

Феофил кончил и подал знак рукою. Посадник Яков Короб начал читать запросную грамоту великого князя:

«Осподарь всея земли русския и великий князь московский, владимирский, псковский, болгарский, рязанский, воложский, ржевский, бельский, ростовский, ярославский, белозерский, удорский, обдорский, кондийский и иных земель отчин и дедич, и наследник, и обладатель, Иоанн Васильевич, посылает отчине своей Великому Новгороду запрос с ближним боярином своим и великим воеводою, Федором Давыдовичем: что разумеваает народ его отчины под именем государя вместо госпо-

дина, коим назвали его прибывшие от них послы архиепископские: сановник Назарий и дьяк веча Захарий? Имуть ли они желание видеть власть судную в одних его руках и хотят ли присягнуть ему как полному властелину, единственному законодателю и судии не причастному, не иметь у себя тиунов, кроме княжеских, и отдать ему двор Ярославлев, древнее место веча? Если так, то он посылает им милость свою и скоро имеет вступить во владение своих праотцев. Сию запись скрепил печатник печатью великокняжескою, князь Юрий Патрикеев. Писал ее дьяк Анциферов, по реклу[2] Шершавый».

Далее были прочтены скрепы сановника Назария и дьяка Захария.

Когда посадник окончил чтение этой грамоты, несколько минут народ хранил молчание ужаса, затем уже послышался глухой ропот:

— Это все бояре да посадники мудрят; якшаются с москвитянами, одаряются ими и тайком от нас обсылаются вестями да записями!

— Зачем же вече-то установлено, как не про всех? Что мы черных сотен слобод людишки, так нам и не поверяют умыслы свои! Вот от белых-то и замарались! Дело вышло на разлад, так наши же руки и тянут жар загребать! — слышались там и тут возгласы.

— Как бы не так! Что сами заварили, пусть сами и расхлебывают! — крикнул чей-то голос.

— Кто отвращает лицо свое от блеска меча вражеского, тот недостоин называться гражданином Новгорода Великого! — возвысил голос архиепископ. — Но дело не в том. Прение наше должно совершиться в льготу отчизне, иначе месть Божия над нами!

— Владыко святой! — начал тысяцкий Есипов. — Ты сам видишь, что всю судную власть забирает себе наместник великокняжеский. Когда это бывало? Когда новгородцы так низко клонили свои шеи, как теперь перед правителем московским? Когда язык наш осквернялся доносами ложными, кто из нас был продавцам своего отечества? Упадыш? Казнь Божия совершилась над ним! Так да погибнут новые предатели — Назарий и Заха-

рий. Мы выставляли князю московскому его оскорбителей, выставь и он нам наших!

— Вестимо так, требуем этого по договорным грамотам! — раздались народные крики.

— Пойдите, выслушайте меня, или же слагаю теперь же сан свой с себя! — заговорил Феофил, возвышая голос, заглушаемый народом.

Из уважения к пастырю душ воцарилось молчание.

Архиепископ заговорил:

— Чьи очи из вас не зрили бедствия уничтожения и срама отечества в недавнем времени? Чей слух не был раздираем воплями соотечественников — братьев ваших? Чье сердце, содрогаясь, не соболезовало в те тяжкие времена? Ваша кровь не совсем еще высохла на стенах крепостных, и вы, кичливые, опять становитесь доступны гордости, самонадеянности и непослушанию; опять даете пищу мечу вражескому, опять хотите утолить жажду его собственной кровью! Проклят тот, кто неправедную силу не отражает силою, но вдвое тот — кто противится правоте.

— Владыко святой, да видит Бог, мы непо-

винны. Ты сам видишь, на нас налгали. Между нами предатели, Иуды! Так бы и Литва не поступила! — снова закричал народ.

— Дети мои, — кротко и величественно отвечал Феофил, — сознавайтесь, чашу горшую должны допить вы за прошедшую вину свою, ничем неискупимую. Не ропщите же, но допивайте ее. Презренные наушники зло хитрят над вами: отклоните от их наветов слух свой, будьте терпеливы и предайтесь на волю Провидения. Мы обошлемся сперва с князем, обвиним предателей и поклонимся ему; предатели будут наказаны собственным грозным судом своей совести, а от нас да будут они преданы анафеме! Пойдемте же, преклоните колена перед престолом Всевышнего: это будет священным началом нашего дела!

Он снял клобук, благоговейно перекрестился и пошел.

— Анафема изменникам! — торжественно воскликнул клир.

— Анафема! да будут преданы анафеме изменники — предатели отечества! — подхватил народ и в стройном порядке отправился за своим духовным владыкою.

Величественную и стройную картину представил из себя храм святой Софии, основанный князем Владимиром, сыном Ярослава Великого, оставшийся доныне единственным памятником древнего Новгорода, когда благочестивый архиепископ, облаченный в крестную ризу, с паствою своею преклонил колени перед алтарем и клир умирительно запел молитву «Царь Небесный».

По окончании ее Феофил вдохновенно произнес:

— Царь Небесный услышит нас, когда мы dokonчим благословенное начало, но гром Его не замедлит разразиться в противных поступках. Опять повторяю вам: будьте кротки и терпеливы. Видите ли вы в куполе образ Спасителя со сжатою десницею вместо благословляющей? «Аз-бо, — вещал глас писавшему сию икону, — в сей руке Моей держу Великий Новгород; когда же сия рука Моя распространится, тогда будет и граду сему окончание».

Растроганный народ начал молиться почивающим в храме мощам: святителя Никиты, печерского затворника, благоверной княгини

Анны, матери его, приложился к Евангелию, писанному святым Пименом, и иконам Все-милостивого Спаса и Премудрости Божией — Петра и Павла, затем вышел на паперть, поклонился праху архиерея Иоакима и, освеженный и успокоенный пастырским словом, мирно разошелся по домам.

II

В тереме Марфы

Темная ночь давно уже повисла над зем-лею... Луна была задернута дождевыми облаками, ни одна звездочка не блестела на небосклоне, казалось, окутанном траурною пеленою. Могильная тишина, как бы сговорившись с мраком, внедрилась в Новгороде, кипящем обыкновенно деятельностью и народом. Давно уже сковала она его жителей безмятежным сном, и лишь изредка ветер, как бы проснувшись, встряхивал ветвями деревьев, шевелил ставнями домов и опять замирал.

Вся Никитская улица с своими домами, ба-лаганами и лачужками утопала в непроница-

емом мраке. Только в самом конце ее в продолговатом окошке высокого терема, обращенном на двор, мелькал огонек. Терем этот отличался от других особенным искусством и красотой в постройке, а потому назывался «Чудным теремом».

Его окружал на большое пространство высокий забор с зубцами, а широкие дощатые ворота, запертые огромным засовом, заграждали вход на обширный двор; за воротами, в караулке дремал сторож, а у его ног лежал другой — цепной пес, спущенный на ночь. Кругом, повторяем, царила мертвая тишина, лишь где-то вдали глухо раздавалась переключка петухов, бой в медную доску, да завывание собак.

Послышались чьи-то тяжелые, уверенные шаги. Кто-то шел вдоль забора и, оставаясь у калитки, вырубленной в воротах, отыскивал проволоку, продетую сквозь нее, и потянул ее к себе.

Раздался тонкий звук колокольчика.

Чуткий пес, давно уже настороживший уши, рывкнул, вскочил, подсунул рыло под подворотню и радостно забил хвостом о зем-

лю. Сторож тоже встрепенулся, и с языка его сорвался обычный вопрос:

— Кто идет?

— Свой! — ответил ему не громко, но грубо, поздний гость.

В ту же минуту сторож подскочил к калитке, медное кольцо зазвучало, и незнакомец, тщательно закутанный, перенес свою ногу через высокий порог, opravил полы своего широкого охабня и опять грубым голосом сказал сторожу:

— Тебе, старый леший, сидеть бы на горохе, да пугать бы воробьев. Что так рано пришиб тебя сон? Разве забыл, что должен дожидаться меня?

— Не во гнев твоей милости, господине, от самой боярыни вышел приказ держать ворота на запоре! — отвечал ему сторож.

Вошедший посмотрел на окно терема.

— Что это за огонь в оконце?

— Должно быть, светец горит, али жирник, а статья может свечи теплятся в образной боярышнинной перед ликом праздничной иконы. Завтра ведь праздник Рождеству Богородицы.

— Не в прок мне знать о празднествах твоих. Говори, старый плут, не укрывается ли кто у ней? Все ли наши собрались?

— А кто их знает. Я окромя тебя, да князя Василия Ивановича, никого не знаю. Вишь, ходят все ночью, как тати.

— Скажешь ли ты мне, кто с ней, или я вызову у тебя язык вот этим! — вскрикнул незнакомец и, распахнув полы охабенья, показал на кинжал, блеснувший во мраке своей серебряной чешуей.

— Сейчас, боярин, сейчас. Пошел к ней еще о вечерьи; в память ли тебе тот чернец-то, что, бают, гадает по звездам? Мудреный такой! Ну, еще боярыня серчала все на него и допрежь не допускала пред лицо свое, а теперь признала в нем боголюбивого послушника Божия? В самом деле, боярин, уж куда кроток и смирен он! Наша рабская доля — поклонись ему низехонько, а он и сам также.

— Кто бы это? — проворчал сквозь зубы вошедший. — Да это соловецкий пришелец, монах тамошней обители, все оттягивает у легковойной бабы льготы от земель ее на свой монастырь. Ну, я выжму ж его от нее... Он

что-то мне подозрителен, — продолжал он вслух высказывать мысли, направляясь к крыльцу терема.

Терем этот принадлежал вдове бывшего новгородского посадника Исаака Борецкого — Марфе.

В описываемую ночь она сидела в своей наугольной гриднице, где на широком дубовом столе догорала восковая свеча в точеном, костяном светце и освещала передний угол с иконами в богатых окладах. Гридница эта была под сводами и роскошно убрана во вкусе того времени. Стены ее были обиты алым бархатом с раскиданными на нем серебряными и золотыми звездочками, а по бокам воткнуты были красивые, позолоченные стрелы, как бы поддерживая эти богатые обои. В глубине гридницы стояло высокое ложе с пышными, шитыми в узор шелками изголовьями, задернутое кружевным пологом.

Марфа Борецкая сидела недалеко от него, важно раскинувшись на лавке, покрытой соболями.

Это была красивая, но далеко не молодая женщина. Покрывало ее, отороченное золо-

го-шелковую бахромою, было немного опущено на лицо, и из-под него мелькали быстрые глаза, особенно когда она повелительно устремляла их на своего собеседника, скромного чернеца, сидевшего перед ней с опущенным долу взором.

Этот чернец был отец Зосима, еще довольно молодой настоятель Соловецкой обители.

— Да скажи же мне, отче Зосима, каким случаем сделалась известной обитель Соловецкая и по чьим следам вошел ты в нее? — говорила Марфа.

— Невидимая рука Божия привела меня в тихое и уединенное пристанище, — отвечал отец Зосима. — Предместник мой, святитель Савватий, бывший инок Кирилло-Белозерского монастыря, искал пустыни, где бы мог укромно возносить молитвы свои к престолу Всевышнего и безмятежно кончить дни свои, пустился странствовать с духовным братом своим Германом. Они отыскали такое место на диком, уединенном, совершенно безлюдном острове и поселились на нем в 1442 году; там выстроили они себе убогий шалаш под мрачными сводами елей, недоступными сол-

нечным лучам, а подле него часовню и дожили срок жизни своей тихо и благословенно.

— Как же ты переступил рубеж светской жизни? — продолжала допытываться Борецкая.

— Молва и слава о подвигах моего предместника огласилась во всех концах земли русской, сердце мое закипело святым рвением — я отверг прелесть мира, надел власяницу на телесные оковы и странническим посохом открыл себе дорогу в пустыню Соловецкую, обрел прах предместников моих, поклонился ему, и искра твердого, непоколебимого намерения, запавшая мне в душу, разрослась в ней и начала управлять всеми поступками моими. С благословения покойного архиепископа новгородского Ионы, основал я храм и огородил его стенами. Люди чуждые мира стекались ко мне во всех сторон и охотно понесли со мной тяжелый крест, скоро сделавшийся для нас легким; все избрали меня настоятелем, и это избрание довершил Иона благословением своим и поставил меня в игумены. Мощи святителя Савватия перенесли мы со всем благочинием в обитель, где почи-

вают они и доньше. С тех пор живем мы тихо, миролюбиво и привольно. Грамотою новгородской предоставлено нашей обители владеть островами Соловецким, Анзерским, Заяцким и другими. Мы, сколько могли, улучшили обитель: питаемся рыбною ловлею и засеянными нашими руками овощами; завели солеварню, провели каналы от потопления и без всякой нужды ожидаем вечности.

— И тебе, отче святой, не взгрустнулось по свету в юные годы твои? Не наскучили труды тяжкие, каждодневные, ни тогда, ни теперь?

— Они-то и не дали места скуке в душе моей, посвященной Богу и трудолюбию. Тогда я был крепче телом, ныне — духом. От молитвы — к трудам, от трудов — опять к молитвам. Мне некогда было скучать и кручиниться. На душе было легко, на сердце весело. В часы отдохновения, бывало, выйдешь поразмыслить о своей новой жизни, взглянешь на все окружающее, начнешь созерцать искусство Небесного Художника — и мысли потонут в дивной красоте. Дикое, но прекрасное очарование положительно сковывает тебя: высокие развесы елей, пышными шатрами

нависшие и шумно раскачивающиеся над головой, а под ногами мрачное море, по которому ходят бурливые волны, глаз обнимает бесконечную сизую пелену, кипящую сверкающими алмазами при светиле дня. Одна мысль, что ты находишься на краю земли, отдаленном ото всего мира, возбуждает благоговейные и высокие чувства, не радость и не печаль закрадывается в душу, а что-то необъяснимое, что выше того и другого. Когда же в немом восторге слеза умиления прольется из глаз, упадет на сердце и освятит его, когда душа зарвется из пленной оболочки своей и запросится в мир чудес и света... тогда поймешь этот мир, несравненно более прекрасный, нежели оставленный тобою.

Зосима умолк.

Благоговейно слушала Марфа вдохновенные слова святого мужа и, после некоторой паузы, растроганным голосом сказала:

— Да, у кого святое тепло на сердце, тот всем доволен; но у кого душа больна...

Она не могла более продолжать и быстро надвинула покрывало на все лицо, чтобы он не прочел в нем движения сердечных мук.

— У кого она страдает светскими помыслами, так ее и многим не удовлетворить: это бездонный сосуд, которого ничем никогда не наполнишь, — отвечал, понявши ее, отец Зосима.

— Истинно верую в слова твои, — начала она опять, успокоившись. — Помнишь ли, праведный отче, когда ты искал покровительства моего от обиды двинских жителей. Я владею близ страны, тобой обитаемой, богатыми селами, но я отказывала тебе во всякой помощи. Теперь совесть, раскаяние мучат меня.

— Человеку долженствует помнить одно добро; тебя смутил искуститель в образе неверного литвина. Прости меня, боярыня. Хоть ты чтишь его своим суженым, но истина руководствует мною, и я вторично повторяю устами ее: «отжени от себя врага, удались от зла и сотвори благо».

Она сидела с поникшей головой.

— И тогда неправеден был гнев твой, — продолжал Зосима. — Вспомни, сколько щедрот своих излил на тебя законный князь твой: все имущество твое, золото, серебро, камни дорогие и узорчья всякие, поселья со

всеми землями и угодьями остались сохранены от алчбы вражеского меча; жизнь твоя, бывшая подле смерти, искупилась не чем иным, как неподкупной милостью великого князя московского. Сверх того, сын твой Дмитрий также не обойден был ею и пожалован знатным титулом боярина московского. Чего же недостает ненасытности твоей?

Глаза Марфы блеснули из-под вновь приподнятого ею покрывала.

Было заметно, что напоминание о прошедшем затронуло слабую струну ее сердца.

— Но где же сыновья мои? — воскликнула она. — Один под черным рубищем муромского монаха, быть может, скитается без приюта и испрашивает милостыню на насущное пропитание; другой, — жалованный боярин твой, — под секирой московского палача встретил смертный час! Это ли милость великокняжеская!

Она перевела дух.

— Я призвала тебя и одарила богато, чтобы посоветоваться, как отворотить общую напасть, грозящую всему Новгороду, а ты, пробудив во мне заснувшую было ненависть к

мучительнице-тиранке — Москве, заставляешь еще каяться за то, что я люблю отечество свое и не меняю его на гонителя сына моего, меня самой, моей родины! Нет, Марфа не укротится, не посрамит себя!

— Много я сказал бы тебе на слова твои, — прервал ее отец Зосима, — но ты, несомненно, слышала уже слова владыки нашего Феофила, а мне остается только домолвить. Я прозреваю цель твою, меня не смутят козни любимца твоего Болеслава Зверженовского. Вы хотите властвовать! Но помните: кто выше станет, тот быстрее падет! Любовь всякая, как и твоя к родине, бывает часто слепюю. Если ты не желаешь видеть света истины, то отпусти меня — я более не нужен тебе, и дары твои оставь при себе: они тяжелы, не по силам моим.

— Тебя любит народ. Как молитвы твои доступны слуху Всевышнего, так и увещевания на подвиги бранные воспаляют сердце каждого новгородца против врагов отчизны! — начала было умиловать его Марфа.

— Я не вижу их, — сказал он равнодушно,

вставая со своего места.

— Так благослови же хоть меня на это, — выговорила с заметною досадою огорченная Марфа, поспешно вставая со скамьи.

— Отныне и до века благословляю и заклинаю тебя именем Вездесущего Свидетеля всех дел и помышлений наших, и всеми святыми угодниками новгородскими, и матерью-заступницею нашею, святой Софиею, только на добрые дела! — произнес торжественно Зосима и вышел.

— Гордый монах! — прошептала Марфа и в волнении начала ходить по светлице.

III

Клятва

Шаги отца Зосимы еще не затихли на чугунном полу узких сеней терема Борецкой, как Болеслав Зверженовский — незнакомец, разговаривавший со сторожем, — вошел в противоположную дверь светлицы Марфы, блеснув из-под своего короткого полукафтаныя ножнами кривой польской сабли.

— Здравствуй, боярыня, — сказал он мрачно, с заметным неудовольствием в голосе, низко и почтительно кланяясь хозяйке.

— А, это ты, пан, — ласково приветствовала она его, хотя выражение ее теперь почти открытого лица носило следы только что пережитого душевного волнения. — Ну, что нового? Я давно поджидаю тебя!

— Свет наш состарился: что же искать в нем нового? — коротко отвечал он.

— Ночь уже очернила его, теперь он не белый, а во мраке, и в этих случаях, по моему мнению, новостям должен быть урожай, — с ударением на каждом слове проговорила

Марфа, усаживаясь на скамью.

— Ты, боярыня, сама была окружена за последнее время чернотой, от которой не спасет тебя и свет, а во мраке — новости мрачные; не спрашивай же о них!

— Что замышляешь ты сказать мне? — озабоченно спросила она, не поняв, или не желая понять его намеков. — Или худой оборот приняли наши дела, или мало людей на нашей стороне? Возьми же все золото мое, закидай им народ, вели от моего имени выкатить ему из подвала вино и мед... Чего же еще? Не изменил ли кто?

— Никто; все идет хорошо, — спокойно отвечал Болеслав, садясь возле Борецкой по данному ею знаку.

— С чего же ты такой озабоченный, пасмурный?

— Не дух ли сына твоего, Федора, до меня являлся проститься с тобою? — ответил он ей вопросом.

— Нет, это был чтимый Зосима, муж разумный, но... несколько... не знаю, что и сказать о нем.

— Не в нем дело! — раздражительно пре-

рвал он ее. — Ты давно не видала своего сына?

— С тех пор, как московские тираны выволокли его из родных стен и принудили постричься в Муроме; напрасно я старалась подкупить стражу, лила золото, как воду, они не выпустили его из заключения и доньне, не дозволили иметь при себе моих сокровищ для продовольствия в иноческой жизни... Но к чему клонится твой вопрос? Нет ли о нем какой весточки? — с трепетным волнением проговорила она.

— Боярыня, — торжественно, громко произнес Зверженковский, поднимаясь с лавки, — будь тверда! Ты нужна отечеству. Забудь, что ты женщина... докончи так, как начала. Твой сын уже не инок муромский, не черная власяница и тяжелые вериги жмут его тело, а саван белый, да гроб дощатый.

— Как?.. он... второй?..

— Его домучили... Сегодня я узнал об этом достоверно от одного муромца, очевидца его последних минут. Но будь тверда!

Трудно описать выражение лица Борецкой при этом известии; оно не сделалось печаль-

ным, взоры не омрачились, и ни одно слово не вырвалось из полуоткрытого рта, кроме глухого звука, который тотчас и замер. Молча, широко раскрытыми глазами глядела она на рокового вестника, точно вымаливала от него повторения слова: «мечь». Зверженовский с злобной радостью, казалось, проникал своими сверкающими глазами в ее душу и также молча вынул из ножен саблю и подал ее ей.

— Значит ты понял меня? — произнесла она хриплым, сдавленным голосом.

Он кивнул головой и, сложив руки на груди, вопросительно глядел на нее.

— Клянусь острием этой сабли, клянусь кровью и прахом сыновей моих, я изнурю себя, лишусь своего имущества, но уязвлю гордыню московского князя под стенами Новгорода, или пусть погибну под ножами его клеветников! — торжественно произнесла Марфа, размахивая саблею, и глаза ее блестели, как сталь, которую она держала в руке.

Картина была достойна великого художника: хитрый поляк с сверкающими злобною радостью глазами, с шершавой головой и

смуглым лицом, оттененным длинными усами, казалось, был олицетворением врага и истребителя человечества, принимающего исповедь соблазненной им жертвы.

— Через мой труп перешагнут на тебя твои враги, боярыня, — хвастливо произнес он, — а победа надо мной достанется им дорого.

— А если она будет на нашей стороне?

— Тогда гуляй мечи на смертном раздолье! Весь Новгород затопим вражеской кровью, всех неприязненных нам людей — наповал, а если захватим Назария, да живьем еще, я выдавлю из него жизнь по капле. Мало ли мешал он мне, да и тебе; бывало, ни на вече, ни на встрече шапки не ломал. А Захария посадим верхом на кол, да и занесем в его приют — Москву. Нужды нет, что этот жирный бык не бодается, терпеть нам его не след.

— А после?.. — с восторгом начала Марфа.

— А после, — прервал он ее, — после тебе в руки жезл правления... Казимир твоя правая, а я — левая рука...

Борецкая дико, радостно захохотала.

— Ты... ты, — произнесла она, тихо переводя дух, — ты будешь моим, я твоею... жизнь

поделим поровну.

Вдруг в древнем Херсонском монастыре, на Хутыне, занял колокол, брякнул несколько раз и опять замолк; только ветер, разнося дождевые капли, стучавшие по окнам, гудел как труба — вестница чего-то недоброго.

Злоумышленники вздрогнули и переглянулись между собой.

— Что бы это значило? — почти шепотом сказала Марфа. — В глухую ночь кто может взойти звонить на колокольню? Кажется, нам не послышалось?

— Нет, это, должно быть, ветер шевельнул колоколами, — отвечал Зверженовский с расстановкой, прислушиваясь. — Вот опять стало тихо.

— Однако это недаром... мне что-то жутко! Уж не бунт ли затевается? Кажется, рано. Не предупредил ли нас кто-нибудь?

В это время на дворе заскрипела калитка, залаяла собака и послышались голоса входивших на двор людей.

— Бабушка, бабушка! Мне страшно, не спится что-то, да и грезы все такие страшные, будто ты... — заговорил сквозь слезы, дрожа

всем телом, вбежавший десятилетний внук Борецкой, сын ее сына Федора Исаакова.

— Что ты, Васенька, чего испужался? — прервала его Марфа, лаская. — Что такое тебе привиделось?

— Да вот, будто ты, да пан этот, — ребенок указал рукой на Зверженовского, — хватаете меня мохнатыми руками и хотите стащить с собой в яму, оттуда тятенькин голос слышится, да такой слезливый, и он будто, сидя на стрелах, манит меня к себе. Кровь из него ручьем хлещет, а глаза закатились. Мне не хотелось прыгать к нему, да вот пан этот так на меня глянул, что я не вспомнил, сотворил крестное знамение, зажмурился, вскрикнул и проснулся. Вокруг меня темно, и, кажись, наяву, представился мне опять тятя, поглядел на меня так жалобно, к вам сюда кулаком погрозился и пропал. Я хотел выговорить молитву: силюсь, да не могу. Тут оглушил меня звук колокола... Отец-то мой давно уж мне грезится.

— Полно, полно, позабавься, да полакомься гостинцами... и все пройдет, — в смущении заговорила Марфа и высыпала в подол его ру-

башки из коробки всяких сластей.

Ребенок ушел с пришедшей за ним нянькой.

— Должно, это наши стучат по сеням, а то бы рабы твои остановили незваных гостей! — радостно сказал Зверженовский, заметно ободрившись.

— И впрямь наши, — отвечала Марфа и вместе со своим гостем перешла из гридницы в соседнюю советную палату.

Там действительно уже были налицо все их единомышленники: сам тысяцкий Есипов, степенный посадник Фома, посадник Кирилл, главный купеческий староста Марк Панфилов, изжитых людей[3], Григорий Куприянов, Юрий Репехов и другие старосты концов: Наровского, Горчанского, Загородского и Плотницкого, некоторые чтимые в Новгороде купцы, гости и именитые, наконец, такая же знатная и богатая вдова, как и Марфа, Наталья Иванова, которая хвасталась, что великий князь Иоанн, в бытность свою в Новгороде в 1475 году, ни у кого так не был роскошно угощен, как у ней.

IV

Среди спасителей отечества

После взаимных приветствий жданные гости разместились по широким лавкам.

Первая начала Марфа, обратившись к тысяцкому Есипову.

— Что, велемудрый боярин, соглашается ли с нами народ? На нашей ли улице праздник?

— Пока еще будни на нашей улице, боярыня, вот что скажет завтра. Золото, серебро и вино действуют; в хмельном разгуле народ побушевал, потолокся на площади, да и разошелся по домам, — отвечал Есипов.

— Теперь время действовать словами. Вон Феофил как опешил толпу велеречием своим, все пали ниц и заныли об отпущении вины, — заметил посадник Фома.

— Да, он все дело на свой лад настроил, — подтвердила Марфа.

— Бочка меду да ложка дегтю, красно на устах, да черно на душе его, так и всем будет: сладко во рту, да горько на сердце отрыгает-

ся! — вставил свое слово Зверженовский.

— Я сама завтра явлюсь перед народом. Он еще помнит меня и поминает... — начала было Марфа.

— Проклятьем, — перебила ее Наталья Иванова. — Я сама слышала ономясь, как поносили тебя, боярыня, кляли, зазорили того, кто послушает твоих наветов, и обещались вымести телом приспешника твоего Софийскую площадь, если он только покажется на ней.

— «Слова без дела, что лук без стрелы!» — ваше же русское присловье! — обиделся Зверженовский. — Таковы новгородцы; а как услышат, что земляки мои наготове напасть на москвитян — заговорят другое. Они как рыбы — в худую погоду ищут глуби, а в ясную любят поиграть на солнце.

— Надобно непременно пустить слух, что Казимир стоит за нас и рать его уже выступила против москвитян, — поспешно сказала Марфа.

— Да их, вашу братию, новгородский народ не стал терпеть за обманы и называет челядинцами, голой Литвой, блудливыми кош-

ками и трусливыми зайцами! — заметил один из старцев.

— Небось, на нашей стороне еще много людей, а золото, ласковые слова и обещания перетянут хоть кого. Завтра попробуем счастья новыми посулами, подмажем колеса, и все пойдет ходче, — с веселым, беззаботным смехом произнес Зверженовский.

Слуги в это время внесли и поставили на столы яства и питья, и между долгими разговорами и совещаниями началась попойка. Болеслав Зверженовский, съев конец сладкого пирога и оросив его крепким русским медом, воскликнул первый:

— Многолетие тебе, Марфа Борецкая, нынешняя боярыня и будущая княгиня новгородская.

— Многолетие, многолетие! — подхватили все, и гордая вдова, встав, начала раскланиваться во все стороны.

Вдруг ударил колокол, другой, и благовест разлился по всему городу.

Все встрепенулись, как вороны, почуя кровь, думая, что это призыв к бунту и убийствам, но вскоре опомнились, и тысяцкий

Есипов сказал:

— Чу... утренняя... пора и по домам...

— Нас давеча изумил еще дальний колокол в самую полночь, так завыл, что мы, шедши к тебе, боярыня, индо пригнулись к земле, — вставил один из гостей.

— Да, сильна непогода, на Софийском храме, говорят, бурю крест сломило, — добавил другой.

— Ахти! — воскликнул третий. — Это, братцы, помяните мое слово, не к добру.

— Ты бы сидел между баб и точил им веретена, когда, ничего не видя, начинаешь трястись как осиновый лист, — оборвал его Зверженковский.

— Горожане! братья! — начала снова Марфа. — Время наступает, отныне я забываю, что я родилась женщиной; прочь эти волосы, чтобы они не напоминали мне этого; голова моя просит шлема, а рука меча; окуйте тело мое доспехами ратными, и, если я хоть малость отступлю от клятв моих, — залейте меня живую волнами реки Волхова, я не стою земли.

— И мы, и мы тоже! — подхватили все.

— Завтра поступим по общему условию. Утро вечера мудренее, — говорили между собою, расходясь, гости.

— Каково-то завтра проглянет день? Что-то темно, уж не суждены ли нам вечные сумерки, — думали робкие, и скоро чудный дом Марфы опустел и замолк, как могила.

На одном конце стола, покрытого длинною полостью сукна, стоял ночник, огонь трепетно разливал тусклый свет свой по обширной гриднице; на другом конце его сидела Марфа в глубокой задумчивости, облокотясь на стол. Ее грудь высоко подымалась, ненависть, злоба, сожаление о сыновьях сверкали в ее глазах.

— Итак, отныне я не женщина! — воскликнула она. — Прочь же эти уборы!

Она сорвала с головы своей покрывало, и две длинные косы, иссиня-черные, как вороново крыло, расплелись и скатились волнами на ее могучие плечи.

Когда волнение ее несколько улеглось, ей представился отец Зосима с кротким и вместе укоряющим взглядом. От сердца ее отлегло, на душе стало светлее, и слеза умиления ска-

тилась из ее глаз.

Она вздохнула было с облегчением, но вдруг ее взор упал на лезвие сабли, забытой Болеславом Зверженовским.

Вид этой сабли снова напомнил ей все.

Она схватила косу и мгновенно обрезала ее.

«Свершилось!» — произнеслось в ее голове.

V

Новгородская бивальщина

Багровая заря взошла на небо и бросила свой красноватый отблеск на землю. Настало раннее утро. Погода была переменчива. Порою ветер разгонял облака и показывалось солнышко, то опять оно заволакивалось тучами, черным саваном висевшими над Новгородом.

Снова, как и вчера, ударили в вечевой колокол со двора Ярославлева, и пронзительный звук его разлился по окрестностям. Народ, только что успокоенный накануне Феофилом, не знал как и разгадать причины но-

вого призыва на общественный совет. Улицы заволновались, и ропотный шум толпы все усиливался и усиливался на Софийской площади.

Около самых ворот веча, осажденных со всех сторон народом, стоял старик с длинной седой, как серебро, бородою, в меховой шапке с куньей оторочкой и длинными подвязными наушниками; зипун на нем был серый, на овчинном подбое; в руках держал он толстую суковатую палку, с широким литым набалдашником из меди. Хотя морщины складками облегли его лицо, но глаза из-под седых нависших бровей горели огнем юности, особенно когда он, рассказывая про былую старину окружавшим его любопытным, приправлял свой рассказ разными прибаутками, присказками и присловьями и, переносясь за много лет назад, подражал молодецким движениям.

— И что за времена настали нонеча! — говорил он. — Чуть враг за лесом — и поникнут головами так низко, что шапка валится. Со страха, вестимо, искра кажется больше полымя. Износил я на плечах своих десятков семь

С золотником годов, и научился видеть, что черно, что бело. Бывало, кто не слышал, кто те видал Новгорода Великого далеко? «Это город, то-то привольный, то-то могучий!» — говорили и немчины, и литвины, и все иноземные людины: ганзейцы и мурмане, гречины и татары, бывшие в нем не как враги, а как гости, — любили они заглядываться на золоченые главы церквей его, разгуливать по широким улицам и любоваться на площадях и в балаганах всеми товарами заморскими! Тут были раскиданы и меха пермские, и полотна фламандские, и ковры персидские, и соболи сибирские, и камки хрущатые, и бахромы золотошелковые, и всякие снадобья хитротканые, и седла азиатские, и камни самоцветные, и жемчуги бурмицкие, и уздечки подборные, и всякие узорья выписные. Всего грудами навалено было перед чужеземными зеваками — отдай деньги и бери добра сколько хочешь, сколько можешь.

В мирное время задает всякий пир на весь мир! Отъедайся, отливайся душа, ходи стена на стену, али заломи на бок шапку отороченную, крути ус богатырский, да заглядывайся

на красоточек в окошечки косячатые; затро-
нул ли опять кто, отвечай огнем, да копьем,
да стрелами калеными; прослышал ли про
караван ливонский, али чей-либо ненашен-
ский — удальцы новгородские разом оскачат
его, подстерегут и накинутся с быстротой со-
колиною раскупоривать копьями добро, за-
шитое в кожи, а меж тем косят часто головы
проводимых, как маковинки. Бывало, одурь
возьмет, как давно нет дела рукам; ну что, си-
ди на печи, да гложи кирпичи — разучишься
и шевельнуть мечом; ждешь не дождешься,
когда-то грохнет вечерой колокол, а уж как
закатится, любо сердцу молодецкому, вспрыс-
нет его словно живую водою радость удалая.
Уж так забьется, так заскачет ретивое, как
конь необъезженный в чистом поле, того и
гляди, что выскочит в пригоршню. А бились
мы с Чудью и Ямью со своими, и с чужими, и
морем, и сухим путем, и Нарвою, и Волгою, и
по Новоозеру неслошь наше ополчение на
несчетных судах. На кого наскочили, тот раз-
ведывайся; куда пришли, там и дома. В Ко-
строму ли, в Тверь ли, в Ярославль ли, под
Астрахань ли богатую, рады не рады — при-

нимайте гостей, выносите калачи на золотых блюдах, на серебряных подблюдниках, выка- тывайте бочки медов годовалых и чокайтесь с нами, незванными гостями; а если хозяева попросят расплаты, рассчитывайся мечами, да бердышами, да бери с них сдачи ушами, да головами, а там снимайся, удалая дружина, и мчись восвояси. А где аховой народец, как примером сказать бы в ближних пригородах ливонских, да еще где застанешь его не врас- плох и выступят против тебя хозяева-то в же- лезных обручах, да начнут пересыпаться с го- стями своим свинцовым горохом, затепливай скорее его лачугу со всех четырех сторон и тут-то вот и привольно будет погреться: шум, гам, гик, вопль, стены трещат, рушатся, рас- топленное железо рекой течет, а люд словно воск тает. Натешилась душа, и заливай пожа- рище вражеской кровью, ведь как булат разо- греется, от него пар валом валит, острие при- тупится хлестать по телам, да по костям, а еще хочется. Ведь это не то, чтобы мы напрас- лино нападали на соседей, и они при случае не спустят. Обоз ли отбить у наших, девушек ли захватить, золота ли без счета пограбить,

да передушить стариков и малых детей — это им обычно; да не удавалось проклятым в частую, как нам приходилось, напрашиваться не в любые для них гости. А как опять мировая, так и мы, бывало, придерживаемся присловью: «В поле враги, дома гость, садись под святые[4] починай ендову; в лесу — кистенем, а в саду — огурцом». И ведется речь любезно, и ходим об руку попарно, и любят не насмотрятся наши гости, как красуется град наш, а в нем рдеют девицы красные, да разгуливают молодцы удалые, и бросаются им в глаза всякие диковинки редкие, и стали звать, прозывать его давно-предавно, чуть прадеды помнят, и чужие, и свои, славным богатырем, Великим Новгородом.

Взоры слушателей, впившиеся в рассказчика, сверкнули огневой отвагой, а старик, откашлянувшись, продолжал:

— И ноне придерживаются этого старики, да не обеими руками, с тех пор, как Иоанн московский залил наши поляны родною кровью. Все как-то пошло на разлад: старики шагаются от старости, молодые трясутся от страха, а родина гибнет. Молодечество[5] иные

стали считать делом зазорным, а по силе грамот отнимать — это им нипочем. Укажите-ка мне, кто теперь поспорит, постоит и словом, и делом, языком и плечом за отчизну. Разве один Чурчила с своими удальцами! Если бы опомнясь не отшатнулся бы он добывать добра в Ливонию, в замок Гельмст, попятил бы московскую дружину так, что некому было бы и до Москвы добежать.

— Краснобай ты, старинушка, но кривы уста твои: нас-то по что избидел ты? Чем мы не молодцы? Загуди только труба воинская, все побратаемся скинуть головы свои или вражеская, выменять на красную жизнь, на славную смерть! — воскликнули окружавшие старика.

— Все красно, ребяташки, да не так как солнце! — возразил он. — Прежде, бывало, московские князья засылали к нам гонцов и велеречиво просили через них подмоги. Дмитрий Иоаннович не знал как чествовать нас, когда на Куликовом поле четыредесять тысяч новгородцев отстаивали Русь против поганой татарвы, хоть после и озлобился на нас, что мы в яви и без всякого отчета стали

придерживаться своего самосуда, да делать нечего, из Москвы-то стало пепелище, так выжгли ее татары, что хоть шаром покати, ни за что не зацепиться; кой-где только торчали верхи, да столбы, да стены обгорелые. Видно, понадобилось ему золото новгородское — подступил. Мы не прочь, выбирай любое: деньги, али битву. Взял первое, да и пошел обстраиваться, а к нам-то татары никогда и ноги не заносили неприязненно. Соберем дань, пошлем в Москву — и разделявайся ею московский князь с ордою, как рассудит. Нынешний-то лих что-то, а то, бывало, указывали мы путь обратный и московской, и литовской дружинам; вольница-то новгородская не очень робела и тех и других. Как услышим, поднимается на нас враг — и в ус не дуем; новгородец накинёт шапку на одно ухо, подпрется и ходит козырем: по нему хоть трава не расти, готов и на хана и на пана! Вам грозят, а на вече голосят: не спугнешь ножнами, когда ножа не боимся. Впервые, что ли, нам слушать угрозы московские? Кассы наши полны, закрома тоже, да и железное снадобье отпущено. Что нам? Мы своих боярей имеем,

нам свои грамоты оставлены Ярославом Великим, ссылаемся на них, да на крепкие головы земляков своих — и с нами Бог, умрем за святую Софию.

— И вестимо! — подхватили слушатели. — Московский князь нас не поит, не кормит, а нас же обирает: что ж нам менять головы на шапки. Званых гостей мы примем, а незваных проводим. Умрем за святую Софию!

VI

Чурчило

Гулко раскатились эти крики по площади и послужили как бы призывом для рослого и плечистого молодца. Он не вбежал, а скорее влетел в толпу.

Невысокая бархатная голубая шапка с золотым позументом по швам, с собольим околышем и серебряною кисточкой на тулье, была заломлена набок; короткий суконный кафтан с перетяжками, стянутый алым кушаком, и лосиная исподница виднелись на нем через широкий охабень, накинутый на богатырские плечи; белые голицы с выпушкой и ки-

сой с костяною ручкою мотались у него на стальной цепочке с левого бока; черные быстрые глаза, несколько смуглое, но приятное открытое лицо, чуть оттененное нежным пухом бороды, стройный стан, легкая и смелая походка и приподнятая несколько кверху голова придавали ему мужественный и красивый вид.

— Чурчило! Чурчило! Отколе тебя Бог принес? Легок на помине!.. Ну, что, как живешь-можешь? — раздавались радостные приветствия в толпе.

— Да, живется, братцы, как живется, а можетя, как можетя! — отвечал душа новгородских охотников[6], снимая шапку и раскланиваясь во все стороны.

— Где побывал, добрый молодец, что последним поспел на совет наш? — спросил его старик-рассказчик.

— Земляки знают меня, — отвечал Чурчило, — на схватке я бываю не последним, а думаю раздумывать, сознаюсь прямо, не моего ума дело, да и о чем?

— Знаю тебя, отъемная голова! — заметил старик. — В кого ты уродился, — дедовский в

тебе норов. Таков был и Абакунов при Дмитрие Иоанновиче, предводитель вольной шайки новгородской; он тоже всегда молчал, но зато красно и убедительно говорил его мечь-кладенец.

— Таперича надо и раздумать, — вставил один видный парень из толпы. — Скажи, Чурчило, на какую сторону более склоняется твое ретивое?

— Вестимо, к родине лежит, — твердо ответил он, — и за нее куда придется, в огонь или в воду, в гору или пропасть, за кем бежать или кого встречать — я всюду готов.

— А мы с тобой! — воскликнули окружающие. — Хватайся, ребята, за палку, кинем жребий, кому достанется быть его подручным...

— Постойте, не спешите, наша речь впереди, — остановил их старик и, обратившись к Чурчиле, расправил свою бороду и сказал с ударением: — Ты, правая рука новгородской дружины, смекни-ка, сколько соберется на твой клич, можно ли рискнуть так, что была не была? Понимаешь ты меня — к добру ли будет?

Чурчило молчал.

Старик пристально посмотрел на него и добавил:

— Ведомо ли тебе, что весть залетела недобрая в нашу сторону. Московская гроза, вишь, хочет разразиться над нами мечами и стрелами, достанется и на наш пай.

— Так вы об этом так разболтали языком вечевого колокола? — вместо ответа, с презрительным равнодушием спросил Чурчило. — Я ходил в Чортову лощину, ломался там с медведем, захотелось к зиме новую шубу на плечи, али полость к пошевням, так мне не досужно было разбирать да прислушиваться, о чем перекоряются между собой степенные посадники.

— Подай, вишь, Москве на огнеметы[7] перелить наш колокол, да на сожжение законные грамоты наши, а после...

— Широко шагают! — вспыхнул Чурчило, прервав старика. — Не видали мы их брата-супостата. Что нам вече — тенистое болото, в котором квакают лягушки что им вздумается. За пригоршню золота, да за десяток ядер отступятся от прав своих. Так что же вы,

братцы, не рассудите до сих пор? — окинул он всех быстрым огненным ответным взглядом. — Мы-то что ж? Пусть их звонят и колоколом и языками... Нам-то любо. Слышь, трезвонят. Вот так, качай во всю и припляснуть можно!.. Что уж давно не звонили?.. А свыклись мы с этим раздольным голосом: так и подступает к сердцу смертная охота рвануться на целую ватагу, — а то ведь и мертвым стало не в чем позавидовать живым. Облежались мы до пролежней без всякого дела... Давайте же руки, братцы, жмите крепче, до слез. Пусть бояре хитроумничают, а мы затеем свое дело... Кто за мной?

— Мы все за тобой, удалой молодец! — закричал народ. — Пойдем меч острить.

Толпа с воинственным криком кинулась вслед за Чурчилюю, почти бежавшим по площади.

— Прямой сокол, — заметил, глядя ему вслед, старик, — ретивое у него доброе, горячо предан родине... Кабы в стадо его не мешались бы козлы да овцы паршивые, да кабы не щипала его молодецкое сердце зазнобушка, — он бы и сатану добыл, он бы и ему пере-

хватил горло могучей рукой так же легко, как сдернул бы с нее широкую варежку.

VII

Вече

На вече между тем в обширной четырехугольной храмине, за невысоким длинным столом, покрытым парчовою скатертью с золотыми кистями и бахромой, сидели: князь Шуйский-Гребенка, тысяцкий, посадник и бояре, а за другим — гости, житые и прожитые люди.

На столах были накиданы развернутые столбцы законов, договорных и разных крестоцеловальных грамот. Не всех желающих видеть это собрание, слышать совещание допускали внутрь веча, так как там уже и без того было тесно.

Два копейщика с секирами в руках охраняли двери, около которых на дворе и на площади, как мы уже видели, толпилось громадное количество народа.

Князь Василий Шуйский-Гребенка с тысяцким Есиповым, в бархатных кафтанах с сереб-

ряными застежками, сидели на почетном месте в середине стола; возле них по обе стороны помещались посадники Фома, Кирилл и другие.

Марфа, важно раскинувшись по скамье с задком, в дорогом кокошнике, горящем алмазами и другими драгоценными камнями, в штофном струистом сарафане, в богатых запястьях и в длинных жемчужных серьгах, с головою полуприкрытою шелковым с золотою оторочкой покрывалом, сидела по правую сторону между бояр; рядом с нею помещалась Наталья Иванова, в парчовом повойнике, тоже украшенном самоцветными камнями, в покрывале, шитом золотом по червчатому атласу, и в сарафане, опушенном голубою камкой. Сзади них стоял Болеслав Зверженовский, в темно-гвоздичном полукафтани, обложенном серебряной битью.

Вокруг них толпился народ, успевший проникнуть в храмину.

Подьячий Родька Косой, как кликали его бояре, чинно стоял в углу первого стола и по мере надобности раскапывал столбцы и, сыскав нужное, прочитывал вслух всему собра-

нию написанное. Давно уже шел спор о «черной, или народной, дани». Миром положено было собрать двойную и умилоствивить ею великого князя. Такого мнения было большинство голосов.

Возражать встала Марфа Борецкая.

— Честные бояре и посадники! — сказала она. — Думаете ли вы этим или другим, даже кровью наших граждан, залить ярость ненасытного? Ему хочется самосуда, и этой беды руками не разведешь, особенно невооруженными.

— Этого мы и в уме не хотим держать! — прервал ее Василий Шуйский, ее личный враг, но и верный сын своей родины. — Разве его меч не налегал уже на наши стены и тела? Я подаю свой голос против этого, так как служу отечеству.

— Он не служит, а подслуживает! — шепнул Марфе Зверженовский.

Последнюю обдало, как варом, это несогласие с нею Шуйского.

— Князь, — воскликнула та, сверкнув глазами, — к чему же и на что употребляешь ты свое мужество и ум? Враг не за плечами, а за

горами, а ты уже помышляешь о подданстве.

Князь Василий в свою очередь распалился гневом, заметя ее сношение с Зверженовским.

— Мы верили тебе, боярыня, да проверились, — заговорил он. — И тогда литвины сидели на вече чурбанами и делали один раздор! Я сам готов отрубить себе руку, если она до временно подпишет мир с Иоанном и в чем-либо уронит честь Новгорода, но теперь нам грозит явная гибель... Коли хочешь, наткайся на меч сама и с своими клеветами.

— Но и самосуда мы не потерпим! Сколько веков славился Новгород могуществом своим, и каким же ярким пятном позора заклеить его и себя, когда без битвы уступим чужезванным пришельцам те места, где почивают тела новгородских заступников и где положены головы праотцев наших! — важно сказал тысяцкий Есипов.

— Боже оборони и слышать об этом! — воскликнул Шуйский. — Первая рука, которая протянется за нашей хранительной грамотой, оставит на ней пальцы. Но зачем же самим заводить ссору?

— Да исчезнет враг! — раздалась возгласы посадников и народа.

— Родька, — сказал тысяцкий, обращаясь к подьячему, — прочти-ка еще порасстановистее запись великого князя.

И Родька громким голосом прочел еще раз.

Все снова ужаснулись, и даже самые мирные граждане, расположенные к великому князю, повесили головы.

— Ишь, требует веча! Самого двора Ярославлева. Мы и так терпели его самовластие, а то отдать ему эти святилища прав наших. Это значит торжественно отречься от них! Новгород судится своим судом. Наш Ярославль Великий заповедывал хранить его!.. Мечь Божия над нами, если мы этого не исполним! Московские триуны будут кичиться на наших местах и порешат дела и властвовать над нами! Мы провидели это; все слуги — рабы московского князя — недруги нам. Кто за него, мы на того!

— Проклятие, проклятие двоедушным косязычникам Назарию и Захарию. И когда мы обсылались через них с московским князем? Это голая ложь! Анафемы! Сам владыко

произнес это.

— Да что владыко? Он за князя подает голос, стало быть, супротив нас!

Таковы были разнообразные возгласы народа, подстрекаемого Марфой и ее сообщницами.

Лишь немногие члены веча задумчиво молчали.

Начавшийся нестройный шум голосов вызвал владыку Феофила, который, пробравшись сквозь почтительно расступившуюся перед ним толпу, воскликнул:

— Необузданные мятежники! Зачем же вызвали вы меня из моей смиренной кельи на позорище мятежа? Нет вам моего благословения; делайте что хотите. Горе вам, непослушные! На начинающих — Бог!

Голос его был заглушен дикими криками, и он быстро удалился, всплеснув руками.

— Суетная земля! — был его заключительный возглас.

Тогда воспрянула Марфа. Шуйского она не так опасалась, как Феофила, но заметив и к последнему холодность народа и победу своих широкогорлых соумышленников, она

громко и оживленно заговорила:

— Настало время управиться с Иоанном! Он не государь, а лиходей наш. Великий Новгород сам себе властелин, а не отчизна его. Казимир польский возьмет нашу сторону и не даст нас в обиду, митрополит же киевский, а не московский, даст архиепископа святой Софии, верного за нас богомольца.

Эти слова вызвали у толпы восторженные клики одобрения, почин которым дали, конечно, клеветы Марфы Посадницы.

VIII

Бунт

Между людьми, не принимавшими сторону бунтовщиков, находились: знатный муж Василий Никифоров, боярин Захарий Овин, брат его Кузьма Овин и несколько других, лично доброжелательствующих Иоанну и ценивших его за ум и энергию. Они держали его сторону, и Василий Никифоров обратился к народу:

— Братия, вразумитесь, что вы замышляете? Изменить Руси и православию, поддаться

ся иноплеменному королю, просить себе от еретика латышского святителя и этим накликать на себя и гнев Божий, и правосудный меч государев? Вспомните, предки наши, славяне, вызвали из земли варяжской Рюрика, он княжил мудро и славно, что видно из преданий, а кровные потомки его более шести веков законно властвовали над Новгородом. Истинною же и православною верою обязаны мы святому Владимиру, а от него прямо происходит и Иоанн, латыши же всегда были нам неверны и ненавистны. Рассудите: к кому же более должны мы обращаться сердобольно и молить о милостях?

Увидя, что эти слова Василия Никифорова, шедшие прямо из сердца, и крупные слезы, катившиеся на его седую бороду, начали трогать слушателей, Марфа, поддерживаемая своими, воскликнула:

— Ты, злой кудесник, давно съякшался с Ивашкой на погибель своих соотечественников и хитро точишь свои медовые речи, чтобы заманить и нас в свои сети. Исчезни, коварный старик! Да обратится на тебя все зло, которое ты готовишь нам.

— Да оглушит тебя гром Божий, жена дьявола! — громко заговорил было Василий Никифоров, но сам был оглушен восклицаниями.

— Не хотим Иоанна, да здравствует Казимир! Да исчезнет Москва!

Небольшая кучка защитников Иоанна отвечала криками:

— Не хотим Казимира! Да здравствует Иоанн!

Марфа, выйдя с клеветами своими из храмины на Ярославлев двор, распорядилась рассыпать народу несколько четвериков пуль[8], раздать по оловяннику[9] меду на брата и подала знак, по которому туча камней полетела на ее ослушников. Иные, сраженные, попадали, другие разбежались, а крики толпы становились все громче.

— Хотим за короля, меч на Иоанна!

— Хотим к Москве православной, к Иоанну и отцу его Терентию![10] — прокричал на Софийской площади Василий Никифоров, насилу выбравшийся на нее, прочистя себе путь мечом, но голос его остался без отголоска.

Явилась щедрая Марфа со своей челядью и

обратилась к народу:

— Если вы, мужья, к великому позору Великого Новгорода, отрекаетесь биться с москвитянами, то ступайте сторожить и прятать имущество свое от разбойничьей шайки Иоанновой; а мы, жены, пойдём на бойницы и будем защищать вас, робких мужей!

Народ или, вернее сказать, толпа бунтовщиков, возбужденная хмелем, стыдом, жаждой мщенья, остервенилась.

— Повели, боярыня, на кого нам? Что начать?.. Вольные новгородцы не посрамят себя!..

— Казнь изменникам! Они соглядатаи и предатели отечества! — воскликнула Марфа, указывая на Василия Никифорова.

Вмиг неистовая толпа ринулась на него, вцепилась десятками рук и потащила снова на вече, нанося чем попало ему удары.

— За что и куда тащите вы меня так позорно, как татя? — слабым голосом говорил мученик.

— Ты соглядатай, ты предатель, ты изменник, ты Иуда! — кричала толпа.

— Нет, видит Бог, я прав; кровь моя оста-

нется на вас и когда-нибудь сожжет ваши души, совесть заглохнет вас, богопротивники, и тебя, гнусная жена-змея!.. Я клялся Иоанну в доброжелательстве, но без измены моему истинному государю, Великому Новгороду, без измены вам, моим брат...

Он не успел окончить. Убийственный топор звякнул, и голова его отскочила от туловища и покатила по песку, чертя по нему кровавые следы. Некоторые дрогнули, другие же, остервенясь еще более, продолжали волочить по площади обезглавленное тело, схватили Захария Овина, брата его Кузьму и убили их обухом топора.

Оба умерли почти не вскрикнув.

Началась дикая расправа над телами: толпа тешилась, рубя их на куски, и любовалась зрелищем, как эти окровавленные куски прыгали под саблями и топорами.

Бросились расхищать балаганы и лавки на Славковой улице. На дворе архиепископском тоже грабили и сажали в застенок[11] подзрительных людей, которых тут же без допроса и суда убивали.

Усталые от кровавой работы, подходили

эти люди-звери к выставленным для них догадливой Марфой чанам с брагой, медом и вином; кто успевал — черпал из них розданными ковшами, а у кого последние были вышиблены в общей сумятице, те черпали окровавленными пригоршнями и пили это адское питье, состоявшее из польской браги и русской крови.

Шум, ропот, визг, вопли убиваемых, задранные окрики, гик, смех и стон умирающих — все слилось вместе в одну страшную какофонию.

Ничком и навзничь лежавшие тела убитых, поднятые булавы и секиры на новые жертвы, толпа обезумевших палачей, мчавшихся кто без шапки, кто нараспашку, с засученными рукавами, обрызганными кровью руками, которая капала с них, — все это представляло поразительную картину.

— Ты что ж, сокол, стоишь без дела и не бьешь изменников? Али и тебе крылья перешибли? — спросил знакомый уже нам старик-балагур, столкнувшись нечаянно с Чурчилой, томно и задумчиво смотревшим на ужасную картину побоища.

— Я люблю биться, а не бить! — ответил ему мрачно тот и, отвернувшись, быстро пошел в другую сторону.

— Постой, я понимаю тебя, молодец! Пома-ракуем-ка вместе. Мы не этого ждали, — сказал старик, догоняя его.

Побоище продолжалось. Иной дрался по-неволе. Быть безучастным зрителем было небезопасно, могли как раз принять за изменника. Не скоро руки палачей устали наносить удары, наступивший вечер не разогнал их. Кто-то догадался посветить им: зажгли дома убитых, и страшное пламя, откидывая на небо багровое зарево и наводя грозные тени на двигавшихся во мраке убийц, придавало этой картине вид еще ужаснее, еще поразительнее.

— Вот так в случае и весь город запалим! Пусть москвитяне поживятся головнями нашими вместо золота! — раздавались со всех сторон возгласы.

Марфа Борецкая со своей шайкой была на площади до позднего вечера, тайно прислушиваясь к все еще продолжавшимся крикам и стонам, результатам ее адской работы.

Все они то и дело натыкались на мертвые тела.

Болеслав Зверженовский, шедший рядом с Марфой, чуть было не упал, споткнувшись обо что-то круглое.

Он нагнулся и поднял за волосы голову.

Блеснувшее зарево осветило ее — это оказалась голова Василия Никифорова.

— Вот он, ворог-то наш, на нас теперь не ослабляется, — со смехом произнес он, поднося ее Борецкой.

Она взглянула. В закатившихся полуоткрытых глазах мертвой головы она, почудилось ей, прочитала страшный упрек. Дрожь пробежала по всему ее телу. На лбу выступил холодный пот.

— Пора, давно уже ночь, — робко промолвила она, как бы пораженная нависшим над ней мраком, и быстро пошла по направлению к своему дому.

Взгляд мертвых глаз, казалось, преследовал и подгонял ее.

IX

В келье Феофила

Неистовства толпы еще продолжались несколько дней.

Вольный народ, то есть чернь новгородская, перед которой трепетали бояре и посадские, бесчинствовала, пила мертвую, звонила в колокола и рыскала по улицам, отыскивая мнимых слуг и советников Иоанновых и расхищая у слабых последнее достояние. Дрались насмерть и между собою из-за добычи.

Новгородские сановники, принимавшие вначале сами участие в бунте, опомнились первые, хотя и у них в головах не прошло еще страшное похмелье ими же устроенного кровавого пира. Их озарила роковая мысль, что если теперь их застанут врасплох какие бы то ни было враги, то, не обнажая меча, перевяжут всех упившихся и овладеют городом, как своею собственностью, несмотря на то, что новгородская пословица гласит: «Новгородец хотя и пьян, а все на ногах держится».

Многие держались уже только на руках.

Задумались люди сановитые, стали собираться каждый день на вече, почесывали затылки, теребили свои бороды и наконец решили — бить челом владыке Феофилу, чтобы он благословил принять на себя труд голосом духовного слова не только успокоить неистовую толпу, но и запретить народу, под страхом проклятия, отлучения от церкви, гнева Божия и наказания, буйствовать и разбойничать.

Жребий вести речь владыке выпал на степенного посадника Фому, прочие же бояре и посадники решили сопровождать его. Не теряя времени, отправились они пешком в смиренную келью архиепископа. Не доходя еще до двери его, они обнажили головы, а войдя в нее, Фома отделился от них, пошел вперед и обратился с просьбой к привратнику, чтобы он сказал келейнику, что бояре и посадники и все сановитые люди новгородские просят его доложить владыке, не дозволит ли он предстать им пред лицо свое и молить его скорбно и слезно об отпущении многочисленных грехов их перед ним.

Через несколько времени архиепископ Фе-

Фил вышел сам на крыльцо и строго обратился к ним:

— Да рассыпятся племена нечестивые, алчущие брани, и будут поражены молнией небесною и, яко псы голодные, лизут землю языками своими! Чего еще хотите вы от меня?

— Благодушный пастырь наш! — отвечал за всех Фома, преклоняя колена. — Человек рожден со страстями. Молим тебя, праведный, обрати гнев на милость, спаси Великий Новгород — он гибнет.

Слезы брызнули из его глаз и он, окончив свою речь, низко опустил свою голову.

— Безумные, вы сами хотели этого... Спасение града нашего в руке Божией. Покайтесь. Я могу только умиловать Его, соединяя свои молитвы с вашими, — заметил тронутый Феофил.

— Этого и жаждем мы, владыко святой. Воззри на раскаивающихся, благослови начинание наше и помоги нам, — молящим тоном произнес Фома.

— Дети мои, — заговорил архиепископ тихим, ласковым голосом после некоторой паузы

зы, обведя всех стоявших перед ним пронизательным взглядом, — знаю, что дух и плоть — враги между собою. Тесно добродетели ужиться в сем мире срочном, мире испытания, зато просторно будет в будущем, безграничном. Не ропщите же, смиритесь: претерпевший до конца спасен будет — глаголет Господь. Но вы сами возмущаете, богопротивники, братьев своих и на долго ли раскаиваетесь?

Пристыженные сановники молчали.

Он продолжал:

— Думаете ли вы, что я не сочувствую вам в общей горести и гибели отечества? Разве забывали вы мои услуги ради его? Не я ли выкланял у московского князя гибнувшие права наши и настоял: быть Новгороду Великим? Вы сами положили начало той язвы, которой теперь страждете. Сколько раз я внушал вам благие мысли: смиритесь — все дастся вам, и успехом увенчаются дела ваши, а вы как исполняли слова мои, как угождали святой Софии? Разве так подобает защищать ее — распрями и убийствами? Я сделал все, что возлагает на меня сан мой, рвение и лю-

бовь к отчизне. И мое сердце кипит любовью к ней под черною рясою, но я сомневаюсь в вас, в вашем послушании.

— Будем послушны вовеки! — воскликнули в один голос присутствующие и преклонили свои головы.

Архиепископ осенил их крестным знаменем и пригласил к себе для совещания.

Вечевой колокол все еще заливался, кровь лилась на площадях.

В одном месте черпали вино из полуразбитых бочек шапками, в другом рвали куски парчей, дорогих тканей, штофов, сукна и прочих награбленных товаров, как вдруг с архиепископского двора показался крестный ход, шедший прямо навстречу бунтовщикам; клир певчих шел впереди и пел трогательно и умильно: «Спаси, Господи, люди Твоя». Владыко Феофил, посреди их, окруженный сонмом бояр и посадников, шел тихо, величественно, под развевающимися хоругвями, обратив горе свои молящие взоры и воздев руки к небу.

Пораженные как громом, бунтовщики окаменели и остались неподвижно в тех позах, в

которых застало их это чудное видение.

Руки, державшие добычу, замерли на минуту, затем поднялись для молитвы, шапки покатались с голов, но толпа не смела поднять глаз и, ошеломленная стыдом, пошатнулась и пала на колени, как один человек.

Архиепископ, молча, не взглянув на народ, не удостоив его благословения и не допустив приложиться к Животворящему Кресту, прошел к соборному храму Святой Софии, помолился у золотых врат[12] его.

После краткой молитвы у этих врат процессия тронулась к городским стенам.

Х

Ответ великому князю

Прошло еще несколько дней.

Софийская площадь очистилась. Мертвые тела поклали на носилки и похоронили по христианскому обряду за городским валом, колокола замолкли, и вече стало представлять собою простую мирскую сходку.

На первом месте в храме заседал архиепископ, подле него тысяцкий Есипов, князь Василий Шуйский, посадники Фома, Кирилл и другие. Марфа же с Натальей Ивановой уехали посетить свои села, находившиеся близ Соловецкой обители.

Великокняжеского посла, боярина Федора Давыдовича, жившего на Городище с многочисленной дружиной, чествовали как подобает, ни чем не обижали, только не допускали на вече и решились отпустить к великому князю с записью от имени веча Новгородского.

— Люди новгородские! — сказал Феофил. — Я написал ответную грамоту в Москву, оста-

нетесь ли вы довольны ею.

Подьячий Родька Косой начал громко читать ее, поглаживая свою бороду:

Отъ Веча Великого Новгорода к Великому Князю Московскому и проч. ответственная грамота!

«Кланяемся тебе, Господину нашему, Князю Великому, а государем не зовем. Суд твоим наместникам оставляем на стороне, на Городище, и по прежним известным тебе условиям; дозволяем им править делами нашими, вместе с нашими посадниками и боярами, но твоего суда полного и тиунов твоих не допускаем и дворища Ярославлева тебе на даем; хотим же жить с тобою, Господином, хлебосольно, согласно, любезно, по договору, утвержденному с обеих сторон по Коростыне, в недавнем времени.

Кто же тебе предлагает быть государем нашим, Великого Новгорода, тех самих ведаешь, и то, как подобает наказывать за криводушие. Мы здесь также управились с своими предателями, и ты не взыскивай с нас за самосуд, данный нам предком твоим, Ярославом Великим, каковым мы нынче и

воспользовались, сиречь, в силу оного дозволения, не преступая нашей к тебе чтимости и покорности.

Молим и взываем к тебе, Господин, всеусердно и всеуниженно: держи по старине, по крестному целованию, и мы всегда будем верными слугами и тебе, и отчизне твоей Великому Новгороду».

Руки приложили:

владыка Великого Новгорода, архиепископ Феофил, тысяцкий Ксенофонт Есипов, новоизбранный дьяк Тит, по реклу: Останов, и проч.

— А если Иоанну не любо будет наше послание, — заметил князь Шуйский, — чего должны ожидать тогда?

— Битвы, — почти в один голос отвечали Есипов, Фома, Кирилл и другие.

Архиепископ задумчиво молчал. Он чувствовал, что не уговорить ему своих сограждан к безусловному подданству, да и самому тяжело было решать все лишь в пользу Иоанна.

— Но в силах ли мы бороться с ним? — понизив до шепота голос, промолвил дьяк Ксенофонт.

Никто не отвечал.

— А уж когда он одолеет нас, — прибавил он, — много резни будет, досыта натешится меч его кровью новгородскою. Надобно чем-нибудь отвратить эту грозу великую, черную.

— Красную, кровавую и непреодолимую, — продолжал его мысль посадник Фома. — На нас она покатится, над нами и разразится! Тогда я первый не скрываю своего намерения поддаться Литве.

Молодой парень, слушавший с прочим людом мнения бояр, стоял в углу храмины и давно уже с досады кусал губы и рвал оторочку своей шапки.

Последние слова о подданстве Литве, произнесенные Фомою, заставили его вздрогнуть. Он сбросил с себя охабень и быстро вышел вперед, окинул всех присутствующих орлиным взглядом своих глаз, сверкающих и блестящих, как полированный лист.

— Владыко святой, — начал он взволнованным голосом, — и вы все, разумные, советные мужи новгородские, надежда, опора наша, ужели вы хотите опять пустить этих хищных литвинов в недра нашей отчизны? Ска-

жите же, кто защитит ее теперь от них, или от самих вас? Разве они не обнажали уже не раз перед вами черноту души своей, и разве руки наши слабы держать меч за себя, чтобы допускать еще завязнуть в этом деле лапам хитрых пришельцев?

— Мальчик, — возразил ему Фома с заметным неудовольствием, — что же ты нашел противного в литвинах, что у них волчьи зубы, или лисьи хвосты?

— И то, и другое, чтимый муж, если хочешь, чтобы мальчик вразумил твои седины! — отвечал ему гордо молодец.

— Чурчило, ты забываешься, так иди же вон отсюда немедля! — вскричали в один голос Фома и Кирилл.

— Уйду и унесу с собою ретивое, которое бьется любовью к родине так же сильно, как рука эта будет вертеть головы ваших заступников — челядинцев, и это так же верно, как то, что я называюсь Чурчилою! — сказал пристыженный и взбешенный витязь Новгорода и, натянув голицу свою, сжал кулак и быстрыми шагами вышел из веча.

— Я говорил тебе, что этот мальчик вреден

и языком и кулаком своим Новгороду. Славу Богу, что я это узнал вовремя! — заметил, нахмурившись, Фома Кириллу.

— Он пылок, но добр. Однако здесь не время и не место объясняться о нем; теперь приходится всякому думать о себе, — с досадой ответил ему Кирилл.

— На сей раз довольно! — сказал владыко, вставая с своего места.

На его лице ясно отпечатывались следы глубоких дум.

Все встали за ним.

Колокол ударил несколько раз, означая окончание заседания, и народ, трепетно, с каким-то вещим, недобрый предчувствием смотрел на бояр, тихо и задумчиво расходящихся по домам.

XI

На берегу Волхова

Ярко и весело светил месяц на землю, звездочки при нем чуть искрились, то пропадали, то снова сверкали в темной синеве горизонта, как резвые рыбки в чистой воде блистают своей серебристой чешуею.

В Новгороде ярко горели огни, но мрак вечера давно уже сгущался; наступала ночь, светлая, роскошная. Огни один за другим стали потухать, и скоро вечно живой город, слившись вдаль с горизонтом в один бледный свет, затих и заснул.

На берегу реки Волхов сидел пригорюнившись добрый молодец. С правой стороны его стоял оседланный конь и бил копытами о землю, потряхивая и звеня сбруею; с левой — воткнуто было копьё, на котором развевалась грива хвостного стального шишака; сам он был вооружен широким двуострым мечом, висевшим на стальной цепочке, прикрепленной к кушаку, чугунные перчатки, крест-накрест сложенные, лежали на его коленях; че-

рез плечо висел у него на шнурке маленький серебряный рожок; на обнаженную голову сидевшего лились лучи лунного света и полуосвещали черные кудри волос, скатившиеся на воротник полукафтаны из буйволового кожи; тяжелая кольчуга облегла его грудь.

Он молчал и лишь порою затягивал какую-то заунывную песню, глядя пристально и печально на Новгород и считая рассеянно волны, бившиеся о берег.

Вдруг ему послышался приближающийся от города звук конских копыт.

Он приложил ухо к земле — звук слышался явственнее, и конь его насторожил уши. Вскоре показался конник, осматривающий пристально окрестности, как бы в поисках. Заслышав шорох у берега, всадник свернул туда своего коня, взгляделся в полулежавшего молодца и радостно воскликнул: «Чурчило!», соскочил с лошади и заключил его в свои объятия.

— Постой, Димитрий, ты задушил меня, как слабого ребенка, — заговорил Чурчило (это был он), в свою очередь дружески обнимая прибывшего, — я и так насилу дышу, у

меня на сердце камень, а в душе — сиротство несчастное!

— Так вот как поступают наши задушевные-то! — воскликнул Димитрий. — Помчался ты, как вихорь, невесть куда, и не сказал мне прощального словца! Бог тебе судья, Чурчило! А мы с тобой еще побратались на жизнь и смерть! Что я тебя изобидел, что ли, чем, словом, али делом, али нелюбым взглядом?

— Не кори меня ни тем, ни другим, брат названный, — вздохнул тяжело новгородский витязь. — Чудно тебе показалось отбытие мое из родного края, особливо же тогда, когда уже сковался и кольцом обручальным, но я еще чудное дело поведаю тебе.

Крупная, как градина, слеза, скатившись по щеке его, разбилась о кольчугу.

— Да что ты, богатырская косточка, ужели и впрямь заплакал, как баба? О чем же? Расскажи скорей, не терпится.

— Эх, замолчи молодецкое сердце! — заговорил снова Чурчило, ударяя себя в грудь. — Дай вымолвить тоску-кручину другу закадычному! Нет, я весел, Димитрий, право,

весел, как этот месяц, — продолжал он, прикидываясь веселым. — Да и о чем тосковать? Красоток много на белом свете, а милая-то хоть и одна, да что ж? Коли забыла она слово клятвенное, не в омут же бросаться оттого, чертям в угоду.

Он улыбнулся, но эта улыбка была скорее болезненной гримасой.

— Так-то это так, — отвечал в раздумье Димитрий, — да вот мне невдомек: во-первых, я тебя не узнаю, ты ли это, Чурчило-сокол, кистень-рука, веселый, удалой, всем пример, который, бывало, один выходил на целую стенку; во-вторых, дивно мне, как могла разлюбить тебя Настенька, новгородская звездочка? Хоть родитель ее, степенный посадник Фома Крутой, и впрямь крут, да твой родитель, Кирилл, тоже посадник, не хуже его, они же с ним живут в превеликом согласии; издавна еще хлеб-соль водят, так как и мы с тобой, бывало, в каждой схватке жизнь делили, зипуны с одного плеча нашивали, да и теперь постоим друг за друга, хоть ты меня и забыл, сподручника своего, Димитрия Смелого.

— Пстой, брат, не язви меня, дай передох-

нуть — все выскажу.

Глубоко и тяжело вздохнув, Чурчило начал:

— Ведомо тебе хлебосольство и единокровные отца моего с Фомою и то, как они условились соединить нас, детей своих; памятно тебе, как потешались мы забавами молодецкими в странах иноземных, когда, бывало, на конях перескакивали через стены зубчатые, крушили брони богатырские и славно мерились плечами с врагами сильными, могучими, одолевали все преграды и оковы их, вырывали добро у них вместе с руками и зубрили мечи свои о черепа противников? Бывало, радость привольная обуяет удалых такая, что десятью языками не сможешь рассказать о ней. И тот восторг, который чувствовал я в душе при взгляде на мою суженую, когда благословили нас Пречистой, когда вложили руку ее в мою и наказали нам жить в любви и согласии, — восторг, вознесший меня на седьмое небо! Ах, Димитрий, если б ты знал, если б ты мог знать, как билось мое ретивое! Бывало и смерть была мне близкой соседкой, и острие меча мелькало перед самыми глазами,

но я не пугался, отобьешь его, да свое запустишь по самую рукоять — и прав, и понесся далее, а тогда... О нет, не умно! Какая она была приглядная, как понимала меня! Как хотела нежить мою буйную голову на коленях своих! Настя, добрая, милая моя Настя!

С этими словами он крепко сжал руку Димитрия и упал головой к нему на грудь, стараясь скрыть выступившие на глазах слезы, которых он стыдился.

Раздались сначала тихие, а потом громкие рыдания.

— Не одна она, и я понимаю тебя, добрый друг! — говорил Димитрий, обнимая Чурчилу.

— Да, теперь ты у меня остался один, один на всем белом свете; теперь он почернел для меня. «Отсветила звезда моя, отсветила приглядная, покрылося саваном небо туманное». Как бишь дальше-то поется эта песня, которую сложил Владимир-утопленник?

— Полно, не обманывай ни себя, ни меня: до песен ли тебе, лучше расскажи, как поется дальше твоя-то песня.

— Слеза смысла пятно тоски задушевной,

как будто я поделился ею с тобой! Отлегло немного от сердца. Слушай же дальше! Я, как водится, с большим поездом сватов и дружек, стал ездить к невесте своей разгульно и весело! Пироги у ней на столах высились горами, напитки лились разливом, и положили уже день, когда совершить наше благословенное дело. Этот день был торжеством для всего народа, день памяти по святой Софии, к которому отец Насти, Фома, хотел совсем изготавиться. Все шло своим чередом, старики наши отдались радости и руками и ногами, а дружки и все поезжане всей головой, пили они как на заказ, а мы... да и что говорить, так было привольно всем! Вдруг, точно ворон накаркал вину на нас бедных, нагрянул гонец из Москвы — и все пошло на разлад. Дорога мне моя Настя, не возьму я за нее всего мира подлунного, но родина... Сожму ретивое, заставлю молчать и променяю бесценную мою, стотысячную, на бесценнейшее сокровище — отчизну. После пусть сам умру несчетными смертями, не проживу мига без нее, зато на душе не будет зазорно.

Чурчило молодецки тряхнул своими куд-

рями.

Димитрий молча слушал исповедь друга.

— Ты знаешь клеветов Марфиных, — продолжал тот. — Они, в том числе и Фома, зачинщики всему делу, злоумышляют опять поддаться Литве, а у нас с тобой никогда не лежало сердце к этой челяди. Я, слыша о том, протолкался в думскую палату и горячо заговорил с Фомою. Не любо стало ему это, рассерчал он на меня и назвал обидными словами. Я тоже и при отце своем и при всех советных мужьях задал ему такую отповедь, что пристыдил его, и тем накликнул на себя немилость и ненависть. Когда же сердце отошло у меня, простыло от обиды его, я спохватился. Отец мой принял его же сторону и послал меня повиниться перед ним. Я тотчас кинулся туда, куда душа моя давно просилась, и стал молить его забыть обоюдные распри наши и покончить скорей начатое дело.

Чурчило перевел дух.

— Когда бы ты видел, как он расвирепел на меня! «Одно условие, — рывкнул он как зверь, — и я прощу тебя и назову сыном: приходи завтра на вече и на коленях при всем со-

брании выползай у меня прощение вины твоей. Да еще согласишься на все помышления наши: преклони голову перед прибывшими литвинцами и всячески их приветствуй, моли заступиться за родину. Иначе, выкинь из головы мысль называться моим сыном, да и дочь моя выбрала уже себе другого суженого». Слова эти затронули меня за живое. «Ползают одни гады, — отвечаю я ему резко, — а приветствовать литвин я должен не языком, а мечом. Когда бы им прислучилось добыть меня живьем и, загнув голову, держать нож над горлом, и тогда бы не стал я унижаться и чувствовать их, просить пощады у заклятых врагов наших!» — «Так если же когда-либо занесешь ногу свою через подворотню мою, — завопил он, — я затравлю тебя лихими псами». — «Да я не захочу встречаться с тобой, ты злей их облаиваешь», — сказал я ему, как отрезал, и так сильно захлопнул за собой калитку, что ворота затряслись и окна задрезбужали.

— А что же отец?

— Отец мой напустился тоже на меня за то, как посмел я дерзко речь вести с чтимым

посадником, близким его сотоварищем, зачем не уступил ему, не согласился на его условия. К жалу добавил он еще жару. «Стало, вы одной шайки!» — больше не мог я выговорить слова, выбежал на перекресток и начал клич кликать: «Верные мои молодцы-сотоварищи, кто хочет со мной рискнуть за добычею далеко, за Ново-озеро, к Божьим дворянам[13], того жду я под вечер в „Чертовом ущелье“». — Я сам вскочил на коня и не смел обернуться назад, чтобы косячатое окошечко Фомина дома не мигнуло бы мне привычным бывалым и не заставило воротиться, да пустился сюда, как на вражескую стену, ожидать...

Не успел он договорить эти слова, как вблизи послышался конский топот. Явилось множество всадников, брони которых сверкали при трепетном блеске луны. Раздался звон оружия, когда они, соскочив с коней, окружили своего удалого предводителя.

— Ну теперь прощай, друг! — сказал Чурчило, крепко обнимая Димитрия. — Она забыла меня! Но ты вспомни меня, умру не умну, а помчусь рассеять тоску-кручину или прах

свой.

— Как! — воскликнул Димитрий. — И ты думаешь, что я пущу тебя одного без себя! Да мне и большой Новгород покажется широким кладбищем.

— Нет, Димитрий, — сказал Чурчило, — не жертвуй: у тебя дряхлый отец. Прости!

Закинув на руки поводья, он прыгнул в седло и вмиг исчез с своею дружиною.

Димитрий остался один.

— Да ведь отец мой любит больше стяжать сокровища, чем дорожить сыновнею любовью, — задумчиво говорил он сам себе, вспоминая последние слова Чурчилы.

— Ты покинул меня, так я тебя не покину! — воскликнул он.

Луна скрылась в это время за облако и открыла его погоню за своим другом-братом.

XII

В доме Фомы

В день столкновения Чурчицы с посадником Фомой последний не возвращался домой из думной палаты до позднего вечера.

В доме посадника еще никто не знал о происшедшей расправе жениха с отцом невесты, а потому по обычному порядку в дом к нему собрались на свадебные посиделки девушки — подруги невесты, которая еще убиралась и не выходила в приемную светлицу. Гости, разряженные в цветные повязки, с розовыми лентами в косицах и в парчовых сарафанах, пели, резвились и играли в разные игры, ожидая ее.

Скоро по извилистой лестнице, ведущей в эту светлицу, раздались стуки костыля и в дверях показалась, опирающаяся на него, сторбленная старушка в штофном полушубке, в черной лисьей шапке и с четками в руках.

Девушки, завидя ее, кинули игры и, бросившись к ней навстречу, закричали:

— Ах, Лукерья Савишна, матушка! — под-

хватили ее под руки и начали с нею шутить, приглашая побегать да поплясать с ними.

— Ох, полноте, резвуньи, — говорила старуха, садясь в передний угол, кряхтя от усталости и грозясь на них костылем, — у вас все беготня да игры, а я уж упрыгалась, десятков шесть все на ногах брожу. Поживите с мое, так забудете скакать, как стрекозы или козы молодые. Да где же мое дитяtko, Настенька-то?

— Она еще не выходила, а мы уж давно собрались жениха да гостей встречать хоть издали, — сказала одна из девушек.

— Пожалуй, мы вместо ее тебя повеличаем, Лукерья Савишна, — промолвила другая. — Запеть, что ли?

— Пошлите вы, — отвечала старуха, — провеличайте тогда, когда мне скоро уж запоют вечную память!

— Полно, что ты, Христос с тобою, Лукерья Савишна! Разве на свадьбе о похоронах думают? — вскричали все девицы, всплеснув руками.

— Да к тому уж время подходит, милые мои молодницы! — со вздохом произнесла ста-

руха, задумчиво чертя по полу своим костылем. — Только бы привел Бог при своих глазах пристроить Настюшу, тогда бы спокойно улеглись мои косточки в могилу, — добавила она, прослезившись.

— Да полно же, перестань, так ты на нас тоску наведешь, повеселимся-ка лучше! — заговорили девушки.

— Нет, это ведь я так, к слову молвила, жаль дитяtko стало, разлучают нас с нею, некому будет мне и глаза закрыть. Фома Ильич, Бог его ведает, как начал опять на вече ходить, и не приступишься к нему, такой сумрачный стал. Спросишь что, — зыкнет, да рыкнет, так по неволе не радость на ум-то, как обо всем пораздумаешь. Прежде я и сама не такова была: в посиделках ли, на пиру ли, на беседе ли, на Масляной ли в круговом катании, о святках ли в подблюдных песнях — первая и закатываюсь. Плясать ли пуцусь — выступаю плавно, подопрусь рукой, голову набок, каблучками пристукну, да как пойду, пойду — все заглядываются...

Не успела Лукерья Савишна договорить свои воспоминания, как в комнату, в сопро-

вождении сенных девушек, вошла невеста. Настасья Фоминишна была красивая, стройная блондинка, с белоснежным лицом, нежным румянцем на щеках и темными вдумчивыми глазами, глядевшими из-под темных же соболиных бровей. Не даром по красоте своей она считалась «новгородской звездочкой». Этой красоты достойной рамкой служил ее наряд. Атласная голубая повязка, блистающая звездочками, с закинутыми назад концами, облекла ее головку; спереди и боков из-под нее мелькали жемчужные поднизи с алмазами длинных серег; верх головы ее был открыт, сзади ниспадал косник с широким бантом из струистых разноцветных лент; тонкая полотняная сорочка с пуговкой из драгоценного камня и пышными сборчатыми рукавами с бисерными нарукавниками и зеленый бархатный сарафан с крупными бирюзами в два ряда вместо пуговиц облегли ее пышный стан; бусы в несколько ниток из самоцветных камней переливались на ее груди игривыми отсветами, а перстни на руках и красные черевички на ногах с выемками сзади дополняли этот наряд.

Девушки кинулись к ней навстречу, окружили ее и повели к старушке, припевая всем хором:

*Шла девица-голубица,
Свет наш, Настенька,
По крылечку, по тесову
Да по коврику.
Она шла, переступала,
Приговаривала:*

*Как роскошно, как богато
Здесь у батюшки;
Как приглядно, торовато
У родного мне.*

*Славно птичке поднебесной,
Резвой ласточке.
Порхать по полю чистому,
По зеленому,
Красоваться, любоваться
Светлым ведрышком,
Быстро виться, расстилаться
По поднебесью.*

*Так и Настеньке талантливой
Быть век девицей
Притаманней и привольней,
Чем молодушкой!*

Вдруг откуда ни возьмися
Да на встречу ей
Идет молодец красивый
Словно писанный.
Ясноокий и румяный,
Кудри черные.
Он приветит ее речью
Сладкогласною:

Ты куда, моя девица,
Настя-звездочка?
Воротися, дай мне руку:
Я твой суженый!

Хорошо тебе, раздольно
В отчем тереме,
А с милым другом милее
Жить по бедности.

Мы согласно и советно,
По любовному,
Не увидим, как промчатся
Годы многие.

Настя дрогнула, смутилась
И потупилась;
Ее щеки жаром пышат,
Разгораются,

*Ретивое бьется сильно,
Кольхается;*

*Словно сладкий мед вливают
Речи молодца,
И разнежася вздыхает
Тяжко, сладостно;
Исподлобья и украдкой
На него глядит
И с стыдливою ухваткой
Говорит ему:*

*Суженый, возьми девицу, —
Полюби меня.
И сверкнула на ресницу
Жемчугом слеза.*

В то время, когда девушки приветствовали невесту этой песнею, она была в объятиях своей матери и, слушая с удовольствием приятные для нее напевы, скрывала на груди Лукерьи Савишны свое горящее лицо. Затем, как бы очнувшись, она начала целовать поодиночке своих подруг.

— Что это?.. На дворе уж давно вечер, а жениха нашего все нет. Да и отец что-то запропал на вече. Ну что ему там делать с ранней

зари да доселе. Ведь всех не перекричать, — сказала старуха-мать.

— Уж не приключилось ли ему что недоброе? — заметила дочь, не спуская глаз с окошка.

— Кому, — спросила мать, смеясь, — отцу или жениху? Кто для тебя дороже?

Настя смешалась и молчала. Лишь после довольно продолжительной паузы вымолвила:

— Оба они неоцененные для меня, матушка, но батюшка дороже, он родитель, кормилец мой.

— Полно пустословить, Настюха! — перебила ее мать. — Я по себе это знаю: бывало, сидя на вышке, да взаперти в своей девичьей светлице, куда хочется найти такого человека, который бы вынес тебя оттуда, как заговоренный клад, и как он после того становится нам дорог. Вот мы с отцом твоим, так признаться сказать, не всегда ладили, норовом-то он крутенок и теперь. Сперва звались мы «голубками», хоть подчас и грызлись как кошка с собакой, а после стал он прозывать меня сорочною-трещоткою, — ведь вот какой обидчик.

Да, впрочем, я ему сама не спускала: он меня за косу, я его за бороду — отступится поневоле. Я еще скромна, не все высказываю. Да что же ты, Настенька, призадумалась? Девицы, гряньте-ка песенку, да погромче какую, только не заунывную, что душу тянет, а так — по-разгульнее, повеселей... Я и сама подтяну вам.

Старуха запела дребезжащим голосом:

*Отставала свет-лебедушка
Прочь от стада лебединого.*

— Да ты уж, кажись, и плакать собралась?.. О чем это? Да, да, мы расстанемся с тобой, неоцененное мое дитяtko. Отдаю я тебя в чужие люди! Осиротеем мы обе.

— Полно, родная, мне и без того моченьки нет, что-то так тяжело взгрустнулось, так вещь замерло, и сама не знаю о чем! — отвечала, всхлипывая, дочь.

— О чем?.. Ну, вестимо, о чем, что долго суженого нет. Вот приедет он — дам я ему себя знать!

— Да приедет ли он, матушка?.. Что-то мне и веры нет! Я ноне сон видела зловещий такой...

— Я сама — тоже. Будто отец твой, муж мой, обратился в медведя, еще страшнее стал, да и...

— Вот кто-то подъехал... Чу, уж и голос раздается в сениях. Должно быть, это они! — вскричали девушки, и мать с дочерью, несмотря на то, что последней вменялось в преступление самой показываться жениху, бросились встречать жданных гостей.

Девушки между тем запели:

*Вылетал сокол ясный на долину,
Он искал соколицу, девицу,
Он сыскал себе...*

— Анютка! Палашка! — кричала старуха своим девкам. — Ступайте, бегите скорей принимать кульки с гостинцами от жениха! Накрывайте столы. Пойте, пойте, девицы!

Девушки заливались.

Вошел Фома с несколькими незнакомцами.

— Что это? — угрюмо проговорил он. — Чего вы вопите? Гасите светцы и замолкните, теперь не до вас!..

— Как! Да что это ты затеял? — подхватила

Лукерья Савишна, пятясь от него и раскинув удивленно руками. — Зачем гасить светцы, да замолкать песням? Что ты ворожишь, или заклинать кого хочешь в потемках? Так ступай в свою половину, а в наши дела, жениха принимать, не мешайся.

— Жених ноне не будет! — грубо буркнул Фома и стал усаживать своих гостей, из которых один пристально и жадно вперил свои взоры в бледную, томную Настю.

— Чтоб тебе самому попритчилось, старому лешему! — проворчала про себя старуха. — Почему же? Что же ему подеялось? Не хворает ли он и помнит ли слово клятвенное? — пристала она к мужу с вопросами уже вслух.

— Нечистый его знает, отвяжись от меня! — закричал на нее Фома.

— И ты от меня с своей челядью стинь с глаз долой! — не осталась в долгу Лукерья Савишна.

— Баба! — крикнул еще громче Фома. — Я вижу, у тебя волос долог, да и язык не короток, замолчи, а не то я его совсем вытяну или укорочу.

— Да что ты взаправду рассерчал и озло-

бился на меня без пути, уж нельзя и слово вымолвить! Мы ждали жениха, а не тебя с этими, — сразу понизила она тон.

— Чурчило более не жених моей дочери! Слышишь ли? Теперь об нем более ни слова. Скажи это Насте, чтобы и она не смела более помышлять о нем.

Старуха всплеснула руками, а Настя, сама услышав свой приговор, дико взглянула на отца изумленными, помутившимися глазами и бледная, как подкошенная лилия, без чувств упала на пол.

— Что ты, варвар, старый, что слово, то обух у тебя! Батюшки-светы! Сразил, как ножом зарезал детище свое... Разве она тебе не любя! — кричала и металась во все стороны Лукерья Савишна, как помешанная, между тем как девушки sprыскивали лицо Насти богоявленской водою, а отец, подавляя в себе чувство жалости к дочери, смотрел на все происходящее, как истукан.

— Что же теперь хорошие люди скажут? Вот сердечный твой сынок старший, Павлуша нелюдимый, знать, более тебе по нраву пришелся! Тебе нужды нет, что он день-деньской

шатается, да с нечистыми знается. Нет же ему моего материнского благословения! От рук он отбился, уж и церковь Божию ни во что ставит! Али его совесть зазрит, что он туда ноги не показывает? Али его нечистые заклиали? Али сила небесная не пускает недостойного в обитель свою? Намедни он... — вопила старуха.

— Что ты отходную, что ли, читаешь дочери? — мрачно сквозь зубы прервал ее Фома, сурово сдвинув брови.

— Ахти, мои родные! Сгубил тебя варвар, мою крошечку!.. Заплатит ему Бог... — стала было причитать Лукерья Савишна, но силы ее оставили, и она, в последний раз всплеснув руками, как сноп упала подле дочери.

XIII

В Чертовом ущелье

Почти на конце Новгорода, далеко за Московскими воротами, был обширный пустырь, заросший крапивою и репейником. Вокруг него торчали огромные рогатые сосны, любимое пристанище для грачей, ворон и хищных зверей; в середине находилось ущелье, прозванное «Чертовым», — в нем под гнилыми хвороста и валежника водились всякие гады: змеи и ужи.

Недалеко от него стояла маленькая избушка с соломенною крышею и с двумя прорезами маленьких окон. Покосившаяся от времени дверь, сколоченная из трех досок, поминутно билась и скрипела на крючьях, то отворяясь, то затворяясь.

Предание об этой избушке было недоброе.

Старожилы уверяли, что они и не запомнят, кто построил ее. Место это обегали испокон века, и только запоздалый путник решался идти мимо нее, да и то в некотором отдалении, осеняя себя крестным знамением.

Рассказывали, будто дверь избушки, бьющая, как подстреленная птица крылом, была движима нечистой силой, которая нарочно заманивала любопытных внутрь избушки, откуда уже они никогда не возвращались.

Молва шла далее и утверждала, что в ней жил чернокнижник, злой кудесник, собой маленький старичишка, а борода с лопату и длинная, волочащаяся по земле; будто вместо рук мотались у него железные крючья с когтями, а ходил он на костылях, но так быстро, что догонял ланей, водившихся в округности. Днем он не показывался, заклятый еще святителем Ионой Новгородским, а по ночам прогуливался, если не на костылях, то верхом на огненном козле и с таким пронзительным свистом, раздававшимся по всему лесу, что распугивал всех хищных птиц, притаившихся в гнездах. Птицы стонали и били крыльями страшную тревогу по всему лесу.

Солнце глянуло своими лучами сквозь сырые облака на мрачные ели и сосны и зарумянило Красный холм, находившийся перед самой избушкой Чертова ущелья. Красным он был назван потому, что под ним злой кудес-

ник погребал свои жертвы, и в известные дни холм этот горел так ярко, что отбрасывал далеко от себя красное зарево.

На этом холме сидело двое людей. Один из них — человек мрачного вида, в нагольном тулупе и в нахлобученной на глаза шапке из черной овчины, волосы его, черные, как душа закоснелого убийцы, были нечесаны и взъерошены и высывались клочьями из-под шершавой шапки, так что трудно было догадаться, где кончается овчина и где начинаются волосы. Кудрявая борода, смуглое лицо, кушак, кованный из чугунных колец, на котором висели заржавленные ножны, — ножом же он шаркал по брусу, — лежавшая подле него рогатина — все это показывало в нем если не хозяина сего места, то достойного его жильца, обыкновенно называемого «придорожным удальцом».

Вид его белокурого товарища был менее свирепым, но все-таки у постороннего зрителя могло сразу сложиться убеждение, что они — два сапога пара.

— Прощай же, Семен! — говорил задумчиво черный.

— Видно, ты далеко на добычу хочешь отшатнуться! Куда это? Что-то давно я вижу тебя таким сумрачным и что-то обдумывающим, — спросил его белокурый.

— Куда мне надобно! — уклончиво ответил тот.

— Слушай, Павел Фомич, — начал Семен, — грех тебе таиться от товарища, который мыкает с тобою жизнь заодно, готов на ткнуться за тебя на нож и копье.

Помолчав немного, Павел отвечал:

— Так и быть, поведаю тебе что ни на есть мое задушевное. Мне скучно на родине, тесно в обширном городе, люди неласково смотрят на меня, да и сам я не люблю никого из них, словно рожден быть не человеком... Ты знаешь, как я ненавижу Чурчилу, и вот за что: до него я слыл на кулачном бою первым бойцом и удальцом, но он раз меня сшиб так крепко, что я пролежал замертво целые сутки, а ты знаешь мой норов: али ему, али мне могила, без того жить не хочу. Ты знаешь и то, что случилось в нашем семействе. Если бы он не повздорил с отцом моим и свадьба их с сестрой состоялась бы, я уж готовил ему подарок

в заздравной чаре. Но толковать теперь некогда. Он далеко, ищет смерти, а я из стремя ноги не выпущу до тех пор, пока не найду его и не помогу ему в этом, то есть не всажу ему нож в горло. Он думал видеть во мне брата и обходился со мной всегда очень любезно, тем легче будет мне втереться к нему в дружбу. Давно бы выслал я его из белого света, да за него здесь заступников много, а там, где он теперь скитается, верней и ходчей найдется рука на его шею. Сам знаешь, грозен враг за горами, но грозней за плечами. А ты оставайся здесь рыскать по ночам за добром к прочим товарищам. Прощай, конь мой далеко, руки зудят.

С этими словами Павел быстро вскочил на своего коня и исчез, мелькнув раз-другой в чаще деревьев.

— Вот оно что! — удивленно развел руками Семен, вытаращив глаза вслед удаляющемуся товарищу.

Оставим на время наших героев, дорогой читатель, вернемся для объяснения некоторых, описанных в предыдущих главах, исторических событий за несколько времени на-

зад, причем заглянем в Московское княжество.

XIV

Терем под Москвою

Тихо, мертвенно было в природе. Черные тучи густо обложили горизонт, изредка лишь мерцали на нем редкие звездочки, но и те одну за другою заволакивали дождевые облака.

Ночь уже совершенно спустилась на землю и покрыла ее как бы черным траурным крепом: молния изредка разрывала тучи, но этот мгновенный пожар неба еще более сгущал сумрак, висевший над землею.

Громовые раскаты долго и яростно звучали в пространстве.

Был конец августа 1477 года.

В нескольких десятках верст от Москвы и на столько же почти в сторону от большой тверской дороги стоял деревянный терем, окруженный со всех сторон вековыми елями и соснами. При первом взгляде на него можно было безошибочно сказать, что прошел уже

не один десяток лет, когда топор звякнул последний раз при его постройке. Крылья безостановочного времени, видимо, не раз задевали его и оставили на нем следы свои. Добрые люди давно не заносили ноги через его порог.

Путники, застигнутые ночью, или непогодю, на большой дороге, редкие не знали, что на ней находится приятный шинок, содержащий одним жидовином по прозвищу Загреба, славившийся в то время на всю окрестность молодою брагою и молодою женою, которая была весела и так же гулива, как брага, и щеки которой были так же пышны и румяны, как поджаренные блины ее мужа.

Недобрые тоже давно не прокладывали следов к этому терему, зная, что в нем, кроме ветра, хозяйничавшего по гридням, ловить было некого, да и поживиться, кроме живших в нем старика и старухи, было нечем и не у кого.

Терем этот, огороженный высоким бревенчатым забором, разделялся длинными сенями на две ровные половины. Меньшая из них, состоявшая из одной светлицы, была за-

нята упомянутыми стариками, а большая, по слухам, обитаемая нечистою силою, стояла запертою большой железной дверью, сквозь которую продеты были двойные заклепы, охваченные огромным замком с заржавленной петлей.

Шесть долгих зим провели в этом необитаемом тереме старик Савелий с женой Агафьей; недаром говорят, что привычка долго ли, а обращается во вторую природу: старики были довольны своею судьбою и друг другом. В последнем бывали исключения лишь тогда, когда Савелий, побывав в Москве за харчами, соблазняясь на возвратном пути елкой, гордо торчавшей над дверью шинкаря Загребы, ласково и умильно манившей к себе конных и пеших путников, заезжал будто ненароком к хозяину шинка спросить, нет ли какой ни на есть работишки, несмотря на то, что жидовин при всякой надобности всегда сам присылал за ним.

Савелий при этих посещениях не был обносим ковшом пенистой браги, а при выходе из шинка пазуха его всегда топырилась доброй краюхой пирога с капустой, данной ему

на дорогу или в гостинец Агафье Сидоровне. После такого задабривания, гостеприимный Загреба уж и не спрашивался Савелия, можно ли ему в пределах леса, вверенного последнему, рубить дрова для варки браги и печения пирогов.

Только Агафья-то Сидоровна всегда недовольная встречала своего муженька, заметив, что у него лицо алое, как ее праздничная кича, а ноги и язык, видимо, заплетаются. Он же с похмелья был недоволен женою, когда она своим ворчанием прерывала его вместе грустные и сладостные воспоминания так недавно минувшего.

В сущности, они жили дружно, хотя и не припеваючи.

В описываемый нами поздний вечер зажженная лучина, воткнутая в железный светец, слабо освещала Савелия, сидевшего на скамье; подле него лежал готовый лапоть, другой он плел, спеша закончить его к утру на продажу. Против него Агафья дремала под однообразное жужжание веретена, а последнему вторил сверчок за печкой.

Старики молчали.

Вдруг молния облила своим пламенем оконце светлицы.

— С нами крестная сила! — воскликнула Агафья, перекрестясь и выронив из рук веретено.

— Упаси Господи, какая гроза наступает! — сказал Савелий, также осенив себя широким крестом.

Вслед за громовым ударом вдруг забушевал ветер и полил проливной дождь: лес дрогнул, деревья порывисто закачались своими вершинами.

— Сидоровна, — сказал Савелий, — заслонка окончину-то ставнем, а то задует лучину.

Старуха поплелась, но только лишь подошла к окну, как в него ворвался порыв ветра, лучина вспыхнула и потухла. Вместо нее ослепительно блеснула молния и осветила под окнами движущиеся фигуры людей.

— Батюшки-светы, что это? — воскликнули в один голос старики, пораженные такою массою неожиданностей, но раскат грома заглушил их слова.

— Эй, кто здесь живет, добрые люди или

недобрые? Укройте от темной ночи и непогоды заплутавшихся, — раздался у окна громкий голос.

— Да поскорей, — поддержал другой хрипловатый, дрожащий, видимо от холода, голос.

— Баба! вздувай огня, — заговорил Савелий, пришедши в себя, — а я побегу отворить ворота.

— Как бы не так, вздувай огня! — передразнила Агафья мужа вполголоса. — Да кого это нелегкая принесла в такую пору. Стану я светить всяким бродягам. По мне они хоть все бельмы повыколи себе о рожны, побери их нелегкая!

— Аль хозяев нет, аль они нехристи какие, что не могут пустить нас на часочек пообогреться да пообсушиться? — повторял за окном хрипловатый голос.

— Да что тут попусту толковать... Ишь — ни привету, ни ответу... Если бы они были добрые люди, то сами бы позвали нас, а с злыми чиниться нечего! — прервал его громкий голос. — Если совсем нет хозяев, то мы и без них обойдемся... Терем не игольное ушко — пролезем... Эй, люди, ломайте ворота, а я по-

пробую окно...

По стуку ножен меча не трудно было догадаться, что говоривший спрыгнул с лошади.

— Иду, сейчас, вот только накину зипунишко! — закричал Савелий, струсив перед решительными поступками незваных гостей.

Через несколько минут, медленно скрипя, растворились ворота, и Савелий вышел из них, тараща глаза, как бы желая рассмотреть сквозь окружающий густой мрак приезжих.

— Входите, вот сюда, за мной... Да много ли вас? — с тревогой спрашивал он.

— Всего четверо, — ответил ему громкий голос, ощупав его плечо и ухватясь за него, — авось углы твоей светлицы не растреснутятся от нас.

Остальные трое, введя на двор лошадей, ухватились тоже один за другого и, таким образом, медленно, гуськом, ощупью, вступили в обиталище Савелия.

XV

Поздние гости

— Да посвети нам, хозяин, нам не в чумички играть; нет ли хоть на алтын огоньку! — заговорили приезжие, войдя в светлицу Савелия.

— Шарю... родимые... Куда-то в впотьмах светец обронил, — отвечал с расстановкой хозяин. — Жена, баба, хозяйка! — продолжал он. — Ты куда еще запропастилась? Вздуйка господам огоньку. Небось они не тронут.

Молния блеснула и осветила Агафью, вылезавшую, как ящерица, из-под печки.

— Ха-ха-ха! Видно, хозяйка там цыпляет высиживает! — захохотали приезжие. — Ты бы ее крышкой покрыл, а то сглазят.

Молния повторилась. Агафья приподнялась с пола и, прокравшись по стене к мужу, начала что-то шептать ему.

— Что? Не хочешь вздуть огня? Вот дам я тебе затрещину, так поневоле засветишь, как искры из глаз посыплются, — отвечал ей тоже полусшепотом Савелий.

Агафья, ворча себе что-то под нос, отыскала трутницу, высекла огонь, вздула его на лучину и осветила светлицу и находившихся в ней.

Четырехугольная, обширная светлица, вопреки своему названию, была закопчена, как угольная яма. В переднем углу, в божнице, стояло несколько икон в медночеканных окладах; под божницей висела запыленная занавеска, прикрывавшая полку, на которой лежали писанные святцы и четки из Богородицыных слезок. В передней стене находились два узкие продолговатые окна, называемые красными. В рамах были вставлены стекла, — что для описываемого нами времени составляло значительную роскошь, так как они получались из чужих краев, — только кой-где, вместо разбитых верешков, была наклеена холстина, обмазанная маслом. В боковых стенах были волоковые окна, заткнутые говяжьими пузырями. Все это, как и колоссальная изразцовая печь, указывало, что светлица была некогда обитаема не Савелием с Агафьей, а ближними боярами великого князя.

По стенам светлицы были лавки, а в перед-

нем углу стоял вымытый и выскобленный стол; в заднем, на двух столбах, стояло корыто, над которым находились полки с разной посудой.

Агафья, засветив огонь, стала у шестка, обтирая руки о полосатую поневу, и исподлобья оглядывала поздних гостей; невдалеке от нее Савелий был занят тем же самым.

Посредине светлицы стоял высокий средних лет мужчина, с открытым, добродушным лицом, в камлотовой однорядке, застегнутой шелковыми шнурками и перехваченной казыблатским[14] кушаком, за которым заткнут был кинжал. Широкий меч в ножнах из буйволово́й кожи, на кольчатой цепочке, мотался у него сбоку, когда он отряхивал свою мокрую шапку с рысьей опушкой. На ногах его были надеты сапоги с несколько загнутыми кверху носками; на мизинце правой руки висела нагайка.

Подле него стоял, недоверчиво озираясь, другой человек, постарее, но плотный, с редкой бородою, с широкою плешью на голове и с быстрыми маленькими глазками, одетый почти так же, как и его товарищ, исключая

разве вооружение, которое у этого состояло из одного широкого ножа с серебряной рукояткою.

На двух других были надеты простые, суровые охабни, но они были вооружены с головы до ног — видимо, это были холопы двух бояр.

— Ну, здорово, хозяева! — сказали пришедшие, помолясь в передний угол и слегка поклонясь Савелию и Агафье. — Не взыщите, что мы напросились к вам, нужда привела.

— Милости просим, бояре, рады гостям! — отвечали хозяева в один голос.

— За что взыскивать? — продолжал уже Савелий один. — Мы по силе помощи рады приютить вас чем Бог послал от темной ночи и непогоды... Не знаю, как ваша милость прозывается.

— Меня зовут Назарием, а товарища моего — Захарием, — отвечал высокий. — А тебя как звать?

— Да был Савелий Тихонов!.. А далеко ли едете? — говорил Савелий, кланяясь.

Он отошел в сторону и стал сложа руки.

— Вот думали-гадали нонче до Москвы доехать, ан вышло иначе! — заговорил Назар

рий. — Дождь загнал нас в лес; хотели укрыться под какое-нибудь дерево и проплутали, да уж слава Богу, что у тебя ошарили в потемках ночлег.

— Человек предполагает, а Бог располагает, это искони ведется, боярин! — отвечал Савелий. — Вестимо, в лесу жутко. Теперь молонья так и обливает заревом, а гром-то стоном стонет. Чу, ваши лошадушки так и храпят, сердечные.

— Да, вот спасибо напомнил! Что ж вы, олухи, забыли про лошадей-то? — закричал Захарий, оборотясь к холопам. — Самих вас вытолкать на двор, пусть бы дождик доколотился до ваших костей, стали бы вперед заботиться о животных.

— Лошадей мы ввели сюда, боярин; а наше дело — не знаем, куда их поставить! — ответил один из холопов. — Вишь, мы не дома.

— Хозяин, нет ли у тебя навеса какого для них? — спросил Назарий.

— Как же, боярин, — отвечал Савелий, — там позади сарай, в нем и моя клячонка стоит.

— Ну, что ж вы буркалы-то вылупили? Сту-

пайте за хозяином! — снова закричал на холопов Захарий и стал что-то нашептывать своему товарищу.

Савелий зажег лучину и, прикрывая ее полюю, пошел было к двери, но Назарий вернул его вопросом:

— Слушай, хозяин, да много ли вас здесь живет в тереме?

— Мы с женой, боярин, двое только. Вот в Микиткин день минет шесть лет, как мы здесь одни маемся; а прежде он стоял пустой, прах его возьми! До того еще жили в нем...

— До прежнего нам дела нет... а теперь не утаивая все выскажи. Знай, что мы не поддадимся тем, кого ты прикрываешь здесь; только тронь нас, ведь ты же поплатишься головой и тех бородой своей не заслонишь... даром что она широка.

— Да что ты, боярин, кормилец, я хоть раб на белом свете, а меня добрые люди знают и ничем не хают... Правда, парнишки шинкаревы трунят, да зубоскалят иное время надо мной: ты, дескать, не лесничий, а леший... Намедни...

— Врешь, проводишь, вот как мы допро-

сим тебя палашами, так не так заговоришь, — сказал, прищурясь, Захарий.

— А еще, кажись, добрые бояре! — отвечал Савелий, покачав головой. — Седые волосы мне порукой, что я не грешен перед Богом и добрыми людьми во лжи! Что ж мне-то о вас думать?

— Верим, верим тебе, старинушка! — сказал Назарий ласковым голосом, трепля его по плечу. — И ты поверь нам, что мы ни одной седины твоей не тронем, вот тебе правое слово мое.

— Да было бы за что и тронуть, — вмешалась в разговор Агафья, — ведь мы — москвичи, суд найдем: нас, рабов своих, ни боярин наш, ни сам князь великий в обиду не даст всяким заезжим.

— Ого! Наконец и ты каркнула, старая ворона. На чью только голову? — заметил Захарий, язвительно улыбаясь.

— Да в своем гнезде и ворона коршуну глаза выклюет, не погневись, боярин, — поклонилась старуха.

— Слушай ты, лягушка! Перед чем ты расквакалась? Пикни еще, так я тебе засмолю

пасть-то! Эка невидаль — москвичка! А москвитяне-то все рабы!

Агафья струсила и замолчала, продолжая ворчать что-то себе под нос.

— Полно, товарищ, — сказал Назарий с неудовольствием, — твое дело не право; лучше исследуем сами истину! Дедушка, посвети-ка нам до твоего сарая; чай наши лошади продрогли.

Савелий молча и нахмуренно направился к двери, за ним следовали все четверо приезжих.

Захарий шел последним, недоверчиво оглядываясь на Агафью, как бы боясь преследований ее ухвата, опершись на который она стояла у шестка.

XVI

История терема

Захарий вернулся со двора ранее своего товарища и, убедившись в справедливости слов Савелия, не в пример храбрее вошел в светлицу. Агафья оказалась относительно его такой неласковой хозяйкой, что тотчас же убралась в сени по его приходе.

Захарий, пройдя несколько раз по светлице, отошел к сторонке и, вынув из-за пазухи кожаную кису, зашнурованную ремнями на сборчатых кольцах, высыпал из нее на ладонь несколько серебряных монет, стал любоваться их блеском, видимо, обдумывая, куда бы поверней спрятать свои сокровища.

Вошедший вслед за ним Назарий доверчиво скинул с себя охабень, разложил его на лавку, подкинул под голову шапку и, приготовив таким образом себе постель, оглянулся на товарища.

— Эй, послушай, — заговорил он. — Эк у тебя глаза-то приросли к деньгам; так и впился в них, что не оттянешь ничем! Сколько не

пересчитывай, этим не прибавишь! Да и на что тебе больше? Их и то столько у тебя, что до Страшного суда не проживешь, а тогда от смерти не откупишься; черти же и в долг поверят, — по знакомству, — а не то на них настрочишь челобитную.

— Ты только зубоскалишь! — пасмурно отвечал Захарий. — Чем бы дать добрый совет, да защитить товарища, а тебе вес равно: ограбят ли его, или прихватят горло... А я, кажись, почтеннее тебя, потому что постарее: не тебе язык чесать надо мною, — ты еще ползком ходил, а я уже заседал в думной палате.

— То-то и есть, ты от всех отпрыскаешься чернилами. А насчет добрых советов: я и тебе подаю его — спрячь-ка ненаглядные свои, они тебя вводят частенько в искушение, но не избавят от лукавого. Уж я тебе предрекаю, что ими ты не один нож призовешь на свою шею. Да вон кто-то уж и идет.

Захарий поспешно задернул шнурками кису и, опустив ее за пазуху, приосанился, как ни в чем не бывало.

— Самого свежего, сочного сенца задал лощадушкам вашим, бояре, и кадушку овса по-

чал для них, — сказал вошедший Савелий. — Ишь как измучились сердечные. Одна чья-то уж куда добра, вся в мыле, как посеребрела, пар валом валит от нее, и на месте миг не стоит, взвивается. Холопская уж куда не то; а то еще одна там есть, ни дать ни взять моя колченогая. Променяйте-ка ее в Москве на ногастую, что привели намедни татары целый табун для продажи. Дайте придачи рублей...

Захарий весь вспыхнул от злости, обидясь тем, что старик браковал его лошадь, и резко прервал его:

— Что гроза, еще не унялась?

— Слава Богу, стихло, дождь чуть покрывает, только с деревьев больно сыплет его ветер, как веником смахивает.

Вошел холоп Назария и подал своему господину яшмовую фляжку с греческим вином, серебряный рожок и конец белого папушика.

Назарий, налив в рожок вина, перекрестился и, поклонясь хозяевам, разом опорожнил его, а, наливая другой, обратился к Захарью.

— На-ка, промочи живой водицей свою ду-

шеньку, небось она зачерствела со страху в лесу.

Тот не отказался и, прильнув к рожку, вытянул вино как насосом.

Дошла очередь до хозяина, но тот обеими руками отмахивался от вина.

— Что ты, боярин! Нам не во льготу это снадобье, наше рыло не отворачивается только от пенной браги, да и то в праздничный день, а не в будни[15].

Немало труда стоило Назарию уговорить его выпить хотя один рожок. Савелий опасался, что среди приезжих есть соглядатай из холопьего приказа[16], который после возьмет с него виру[17].

Только тогда, когда Захарий поклялся ему московским чудотворцем, святым Петром митрополитом, что никто из них из избы сору не вынесет, то есть не будет на него доносчиком, старик охотно согласился опорожнить не только рожок, но даже целую флягу.

Полюбилась ему, видимо, лакомая влага. С самодовольной улыбкой погладил он свою бороду, которую звали полосатой, так как она была черная с проседью, и любовно посмот-

рел на оставшееся во фляжке вино.

Агафья тоже промочила себе горло, не отказываясь, но прихлебывая и приговаривая:

— Куда голова, туда и хвост, живши с мужем четыре десятка, так уж и пить из одной чаши!

Вино развязало языки старикам.

Савелий пустился в рассказы о тереме, утверждая, что он более чем ровесник Москве, что прадеду великого князя, Юрию Владимировичу Долгорукому, подарил его на зубок замышляемому им городу какой-то пустынный-чародей, похороненный особо от православных на Красном холму, в конце Алексеевского леса, подле ярославской дороги, что кости его будто и до сих пор так бьются о гроб и пляшут в могиле, что земля летит от нее вверх глыбами, что этот весь изрытый холм по ночам превращается в страшную разгоревшуюся рожу, у которой вместо волос огненные змеиные хвосты, а вместо глаз высываются жала и кивают проходящим; что пламя его видно издалека и оттого он называется Красным. Великий князь подарил этот терем боярину Савелия за верную службу,

вскоре после похода под Казань, и что с тех пор стал тут жить боярин с семейством до самой опалы великокняжеской.

Савелий проговорил бы до утра, если бы его не прервал Захарий.

— Уйми ты жернов свой, — крикнул он на него, — сказка твоя слишком тощая закуска для меня. Эй, вы, подите, ошарьте-ка тороки у моего седла, там, я заприметил, мотались давеча калачи.

— Да они, боярин, все размокли от дождя, — отвечал один из холопов.

— В самом деле, хорошо бы закусить что-нибудь, — заметил Назарий.

— Скудна наша трапеза, боярин, а если тебе в угоду, то бьем челом всем, что сыщется, — произнес Савелий. — Эй, жена, все, что есть в печи, на стол мечи!

— Что там разбирать, любя, али не любя, все благословение Господне, — отвечал Назарий. — Что до меня, я человек привычный ко всему, рос не на печке, не был кутан хлопком под материным шугаем, а все почти в поле; одевался не полостями меховыми, а железной скорлупой и питался зачастую чем ни по-

пало.

Агафья тем временем всунула руки и голову в печь, вытащила из нее горшок с ячменной кашицей, приправленной чесноком и свиным салом. Савелий достал с полки ковригу ржаного хлеба, толочко, и все это они поставили с поклоном перед своими гостями.

Савелий нацедил ендову квасу, подал его вместе с деревянною узорной резьбы солоницею гостям и пожелал им на здоровье откусать его хлеба-соли.

Назарий, усердно помолясь Богу, сел за стол, отрушил себе добрую краюху хлеба и, зачерпнув широкой ложкой кашицы, стал аппетитно уплетать далеко не изысканные яства.

Захарий сперва морщился и делал себе под нос замечания, что на хлебе не меньше плесени, чем на лице хозяйки морщин, что он жесток так, что ему не по зубам, но видя, что аппетит его товарища грозит опустошить весь горшок кашицы, начал взапуски наверстывать потерянное время.

Когда оба проголодавшиеся гостя насытились, Захарий даже самодовольно разгладил

рукою свое увесистое брюхо и почти дружески спросил Савелия:

— Скажи-ка нам, Тихоныч, — мы люди заезжие, — нет ли на Москве чего новенького? Полакомь нас какой-нибудь весточкой.

XVII

Рассказ Савелия

— И, боярин, откуда нам набраться новостей, — отвечал Савелий, — живем мы в глуши, птица на хвосте не принесет ничего. Иной раз хоть и залетит к нам заносная весточка, да Бог весть, кому придет она по нраву, другой поперхнется ею, да и мне не уйти. Вот вы, бояре, кто вас разгадает какого удела, не московские, так сами, чай, ведаете, своя рука только к себе тянет.

— Хотя мы и не москвитяне, не земляки твои, однако такие же русские, — сказал Назарий, — такие же православные христиане, ходим с вами под одним небом, поклоняемся одному Богу, греемся почти одною кровью и баюкает нас одна мать — Русь святая.

— Да отец-то не один, — продолжал Саве-

лий. — Мы чтим и челом бьем своему князю, на кого он, на того и мы, за кого он, за того и мы, а вы, чай, чувствуете своего.

— Мы, — гордо воскликнул Назарий, — все мы одно тело! Душа одна...

Он остановился, так как Захарий толкнул его ногой, и добавил живо:

— Что-то будет!..

— А бывала ли ваша милость в Москве? — нарушил Савелий вопросом наступившее было молчание.

— Я был, но давно уже, — отвечал Захарий, — когда еще в Москве замирала жизнь и души во всех дремали. Помнишь ли, когда истекала седьмая тысяча лет от сотворения мира, что по греческим писаниям означало приближение конца света?

— Как же, родимый! То была черная година! Знать на нее взглянул Касьян немилостивейший. Я жил тогда в Красном селе. Бывало, пойдешь в Кремль к боярину, да еще не доходя до посада, все сердце изноет; в какую сторону ни взглянешь, везде идет народ в смирном[18] платье, на каждом шагу, видишь, несут одер или сани[19] с покойниками, а за

ними надрываются голосатые[20]. Слухи носились, что железа[21]рыскала по всей Руси, а у нас, кажись, нахватала народу более всех. Ведь что его вымерло — гибель! А как студено было, какие снега сыпались даже в весенние дни, солнышко-то Божье отвернулось тогда от грешной земли нашей, бывало и не проглянет и не обрадует нас несчастных; а летом-то еще пущая пришла невзгода; ни дождичка, ни росинки, жар обдает, а напиться нечего, вода-то вся, как выпарилась! Хлеба все опалило — и голодно и душно, хоть живым ложись в могилу. А ночи-то какие ужасы наводили на нас. Вдруг делается темная такая, что хоть глаз выколи, ни месяца, ни звезд, да еще, сам не видал, а молва разносила, озера по ночам воем выли, так что спать не давали, кто жил к ним близко. Не весть что претерпели мы тогда! И чем прогневали только Владыку Небесного, что послал Он на нас, громких, напасть такую лихую.

Назарий, внимательно слушавший рассказ Савелия, задумчиво и печально произнес:

— Бедная наша отчизна! Чужие и свои вра-

ги, и гнев Господень подавляют тебя.

— Какие же это враги, боярин? — спросил его Савелий. — Кажись, теперь все князья живут в ладу, как дети одной матки, дружно, согласо. Наш же московский, как старший брат, властью своею покрывает других. О прежнем времечке страшно подумать. Вот недавно сломил он, наш батюшка, разбойников.

Захарий быстро смекнул, о чем хочет заговорить Савелий, и, заметя, что в глазах Назария блеснул луч гнева, поспешно перебил старика:

— Ну, Тихоныч, что же дальше-то было?

— Да что? Грянул гром и хватились за ум, — начали все креститься: кто вносил богатые вклады в храмы Божии, кто строил их, кто, не в суд будь сказано, протоптал колени и отмахал всю голову, молившись, а с ближних своих сдирали вчетверо за хлеб насущный, несмотря на то, что у самих были полные закрома всякой всячины, а другим и куснуть было нечего; иные же, зазорно и вымолвить, нанимали за себя молеельщиков... Всяк, кто не хотел трудиться да работать, делался

их попом... Их ублажали всячески, а они, прости Господи, вместо утешения да моления за православных, только соблазняли народ и бесчинствовали до того, что добрый владыко, наш пастырь и святитель Феодосий, не будучи в состоянии терпеть далее таких беззаконий, сложил с себя сан митрополичий и заключился в Чудовом монастыре. Там, сказывали, ухаживал он все за каким-то прокаженным, омывал его раны, молился за нас грешных и творил многие богоугодные дела до конца своей жизни.

— А церковь-то Божья и вы остались без стража, отданные на добычу этим развратным искусителям? — спросил Назарий.

— Место свято пусто не живет, да и верующие в него тоже. Духовные сановники вскоре всем собором избрали на упразднившееся место в московские пастыри суздальского святителя Филиппа. Этот муж, разумный и красноглаголивый, силою слова своего разогнал во имя Божие эту челядь, а нас просветил надеждою, проповедуя об испытании и покорности рабов земных Отцу нашему Небесному, чадолюбивому.

— Помнится мне, москвитяне ваши загомосились на Казань после этого падежа людского? — спросил Захарий.

— Не после, а в это же время, боярин, как великий князь вострепенул верноподданных громким кличем идти на неверцев. Как выкатили на площадь Кремлевскую не тараны стенобитные, не туры подвижные, не перевесы приступные[22], а огнеметы чугунные[23], все это так ободрило народ, что все подняли головы, как будто грянула страшная труба и звала всех из гробового сна. Сбылись и священные слова нашего пастыря: «Молитесь и дастся вам». Настала весна, проглянуло солнышко, Боже, как обрадовались ему православные. Солнышко, родное, глазок Божий, ненаглядное ты наше! — вскрикивали все, рыдая, а оно-то так умильно, так светло взглянуло на нас... и заиграли его искорки на крестах соборных, и разгорелись наши сердца радостью, и... Да что и говорить, всего не вымолвишь, что было на душе! Земля отдохнула — и с тех пор уже жутко стало показываться снегам да морозам в вешние дни.

Окончив свой рассказ, Савелий утер рука-

вом выступившие слезы.

Прослезился и затуманившийся Назарий.

Лучина нагорела. В светлице был полумрак. Все было тихо; вдруг Захарий вывел носом такую ноту, что все оглянулись, подумав, что это прозвучала сапелка[24]. Затем он сильно всхрапнул и, тут же проснувшись, удивленно посмотрел посоловевшими глазами на молчавших собеседников.

— Ох, да как славно я вздремнул! — произнес, наконец, он, и, заметив, что заветная киса его высунулась наполовину из-за пазухи во время сна, поспешно спрятал ее.

Назарий встал из-за стола и помолился Богу, за ним поднялся, зевая, и Захарий.

— Ну, теперь моя очередь заснуть, — сказал первый и прилег на свой охабень.

— Старуха, покорми чем-нибудь наших холопей. Кстати, вот тебе за все тепло и добро твое, — продолжал он, выкидывая на стол серебряную резань[25], а Захарий, сверх того, отложил несколько литовских грошей[26].

— Это тебе, Сидоровна, за хлопоты и услуги.

— Спасибо, господа милостивые, — сказа-

ли хозяева, низко кланяясь им.

— Вот эта наша, светленькая-то, — прибавил Савелий, перевертывая резань и любуясь ею, — а эти медяшки-то Бог весть какие; те же пула, да не те, на них и грамотей не разберет всех каракулек. А что, боярин, — продолжал он, обратясь к Захарию, — должно быть, изда-лека эти кружки?

— Нужды нет, что отсюда не видать, где их круглят, однако тебе за них и в Москве насып-лят добрый оков[27] хлеба.

— Я не сумлеваюсь, боярин; всякая деньга становится всем притоманна, — отвечал Савелий.

XVIII

Рассказ Агафьи

— Ну-ка, старина, что-то сон не берет, —
— Нпорасскажи-ка нам теперь о дворе ва-
шего великого князя, — сказал Захарий. — О
прошлых делах не так любопытно слушать,
как о тех, с которыми время идет рядышком.
Ты же о чем-то давича заговорил, будто иную
весть не проглотишь. Небось, говори смело,
мы верные слуги московского князя, у нас
ведь добро не в горле останавливается, а в па-
мяти: оно дымом не рассеется и глаз не закоп-
тит.

— Я, боярин, опять-таки молвлю: мои ве-
сти короче бабьего разума, сами будете в
Москве, все разузнаете и диву дадитесь, как
она красится, как добры и сильны стали дет-
ки ее и как остры мечи их. Вот хоть бы взять,
к примеру, мурзы татарские, эти казанцы-по-
ганцы, с своим псом-царем Ибрагимом; уж не
они теперь на нас, а мы на них; наши дружи-
ны протопали дорожку даже к самому гнезду
этих неверцев... Да вот только привел бы Гос-

подъ батюшка нашему великому князю сбить остатную спесь с чопорных новгородцев, он бы их ошеломил, как намедни этих.

— Да знаешь ли ты, косноязычник, что погубило новгородцев? — воскликнул взволнованно Назарий и даже привскочил с лавки, на которой лежал. — Если бы не измена Упадыша[28] с его единомышленниками, брызнул бы на москвитян такой огненный дождь, что сразу спалил бы их, а гордыня стены Новгорода окрасилась бы кровью новых врагов и еще краше заалела бы. Так-то, седая борода, — добавил он, несколько успокоенный, изумленному Савелию, — что не знаешь, о том и не болтай.

— Вот то-то, боярин, сами вы напросились на нелюбое слово. Я говорил, что на всякого не приберешь нравную весть. Однако за что же ты застеняешь крамольников, — они кругом виноваты, в них, видно, и кровинки русской нет, а то бы они не променяли своих на чужих, не стали бы якшаться да совет держать с иноверною Литвою! Мы холопы, а тоже кое-что смекаем; я не один, вся Москва знает, о чем теперь помышляет князь наш.

Назарий задумался и, видимо, не найдясь, что ответить ему, глубоко вздохнул и опустил голову на шапку, заменявшую ему подушку, и закрыл глаза. Захарий же с ударением заметил:

— Полно гуторить-то, мы точнее тебя ведаем, какие мысли ворошатся теперь в голове вашего любовластного князя.

Савелий пристально посмотрел на него и, как бы сообразив что-то, схватил себя за голову и поспешно выбежал из светлицы. Агафья же, кормившая холопов, отвечала ему вместо мужа:

— Вестимо, боярин, но мы-таки понаведались кой-чего, а когда бояре наши были во времени[29], то тогда мы и более знавали.

— Кстати, Сидоровна, за что же опала-то опалила крылышки твоим боярам? Кто они таковы и где находятся теперь? — спросил Захарий.

— Долга будет песня про все, боярин! — отвечала она. — Вот дождь-то, кажись, унялся, небо прояснилось и светать скоро начнет, вам будет в путь пора, а нам на покой.

— Да, что-то сон давеча у меня как рукой

сняло; порасскажи теперь что-нибудь ты.

— Ну, коли изволишь слушать, да это тебе в угоду — так пожалуй! Боярин наш прозывается Алексеем Полуевктовичем, он был в чести у великого князя, а жена его, боярыня Наталья Никоновна, у великой княгини Марьи Михайловны[30] — первой любимицей. В свадьбу великокняжескую она осыпала жениха и невесту хмелем из золотой мисы, да опахивала тридесатью дорогими соболями. И жили-поживали наши бояре при дворе в высоких теремах чинно и раздольно и едали с княжеских блюд сладко и разносольно. Поднимется ли, бывало, князь великий в поход, и боярин с ним, охраняет его особу, а боярыня останется потешать сиротиночку княгиню великую, — и много годов прошло таким чередом. Вдруг с Марьей Михайловной что-то подеялось, не соснет ни на миг, не промолвит словечка, не проглотит кусочка, — уж чем ни забавлял ее великий князь: заставлял слепого гудочника играть подле постели ее на гудке и веселые песни, и умильные песни, ластил ее и медом золотым, шипучим, и всякими закусками и гостинцами сладкими, ничем не уго-

дишь. Знахари думали-передумали, судили, рядили и сказали в один голос, что она испорчена злыми снадобьями. На кого подумать? Стали спрашивать у всех сенных и сановитых прислужниц ее строго, и показали все, что видели, как боярыня наша Наталья Никоновна ходила с поясом великой княгини к ворожее и что будто эта ворожея и привила ей недуг лютый. Отворили храмы святые, подняли образа чудотворные, служители Божии преклонили колена и начали упрашивать силы небесные о здоровье матушки нашей великой княгини, но знать Богу не угодно было ниспослать ей милостей Своих — тело ее почернело, как вороново крыло, и отекло так, что и рассказать невозможно. Недолго маялась она, сердечная, и отошла тихо, как заснула. Только что ударили в колокола о выносе тела ее, Наталью Никоновну как ножом по сердцу урезнуло, забегала она по gridням своим и занесла такую гиль, что Господи упаси всякого было слушать ее. Видно, убоясь праведного гнева великокняжеского, вдруг пропала она, да так скрытно, что сам Алексей Полувектович не мог придумать, куда бы ей

деться? Вот он и переселился из Москвы сюда, в родовой свой терем, удалил всех своих закупных рабов, только мы с Тихонычем остались служить ему. И жил он здесь ни много ни мало, шесть годов с половиною, и потребовал его князь опять перед лицо свое, повелел ему занять прежнее его место околичного. С тех пор запустел наш терем. Одни мы домыкиваем жизнь свою в нем, а о боярыне ни слуху ни духу, как ключ ко дну сгинула. Дивились мы, что за притча такая: за что бы ей посягнуть на государыню, и где она положила головушку свою, в чьей земле улеглись косточки ее? И жутко, страх жутко случается нам, как на той половине терема кто-то по ночам словно в набат бьет, особливо в темную ночь, как зашелестит дождик проливной, завоют ветры бурливые...

— Жена, баба, дура, хозяйка! — тревожно позвал Агафью, приотворивши дверь в светлицу, Савелий и перервал этим ее рассказ.

— Что ты, одурелая, распрыгалась языком-то? — говорил он, когда она вышла к нему в сени. — Знаешь ли что это соглядатаи, враги наши, которые нарочно выведывают от

тебя всякую всячину. Дойдет до ярыжек, так не отмолиться ничем.

— А по мне, прах их побери! — отвечала Агафья. — Мне почто знать, кто они такие? Ну что ж? Я говорила, да не проговорила. Уж нелегкое дело, будто не смыслю с твое-то, ты и сам давича...

— Нет, смертью искупим славу! Родились вольными и умрем такими же! — воскликнул так громко Назарий, что Агафья с Савелием вздрогнули.

— Он бредит! — произнес тихо Захарий, наклонясь над своим сонным товарищем.

Затем он улегся снова на свою лавку.

На цыпочках прокрался Савелий в светлицу и стал выманивать шепотом холопов идти спать в клеть, но они улеглись у порога. Тогда он указал Сидоровне на печь, задул свец, перекрестил издали своих постояльцев и, взобравшись на полати, еще долго прислушивался в окружавшую его тишину, прерываемую лишь храпом спящих, да бессвязным бредом Назария о свободе.

XIX

На пути к Москве

Было раннее утро 29 августа 1477 года. Из сумрачного леса на большую тверскую дорогу медленно выезжали четыре вершника[31], в которых нетрудно было узнать путников, ночевавших в лесном тереме.

Назарий сидел пасмурно, так низко поникнув головой, что залом его шапки, висевшей наперед, нередко касался гривы бодро выступавшего коня. Захарий же сторбился и посвистывал, переваливаясь то в ту, то в другую сторону, мотая ногами и сидя, как туго набитый мешок, на маленькой лошаденке, неохотно трусившей под ним. Холопы ехали сзади и с глупым любопытством осматривали окрестности, видимо, для них совершенно незнакомые.

— Вот и часовня! Должно быть отсюда московский рубеж начинается! — сказал Захарий.

Товарищ его поднял голову, как бы про-

бужденный, поспешно скинул шапку, перекрестился и снова погрузился в свои думы.

— Что ты, ошалел, земляк, али от Москвы-то тебя огнем обдает? Вымолви словечко, оправь шапку, будь молодцом! Смотри, какое утро, солнышко играет так ярко и весело...

— У кого на душе сумерки, так и в глазах не заря! — ответил Назарий, тяжело вздохнув.

— Знать, твою удасть что-нибудь сковало со вчерашнего — не шевельнешься... Видно, старый колдун Савелий сильно уязвил тебя последними словами о наших.

— А ты без зазору хлопаешь глазами, когда земляков твоих поносят, называют разбойниками, помышляют о них, как...

— Да, а вот ты не хлопал, так у тебя глаза-то и выело, как дымом.

— Знаю я, что тебя ничто не берет: ни стыд, ни дым.

— Вестимо, что кручиниться? Уж коли взялся за гуж, не говори, что не дюж.

— А понимаешь ли ты, кого ты теперь представляешь в лице своем?

— Кем был, тем и останусь: вечевым дьяком Захарием. А по-твоему как же?

— По моему, был ты Захарием, а когда оку-
нулся в купель корысти, то вышел оттуда
Иудой.

— Гм... — крикнул Захарий. — Поэтому мы
с тобой тезки.

— Как, чернильная гадина! — гневно вос-
кликнул Назарий и даже осадил своего ко-
ня. — Недомерок человеческого рода тянется
под мою статью, или хочешь окоротить меня,
чтобы сравняться со мною. Господи, до чего я
дожил! — добавил он с неподдельным отчая-
нием в голосе.

— Да что ты серчаешь? Я сказал это пото-
му, что мы целимся в одну мету!..

— В одну, да каким образом? Я действую
прямо, иду на всякого лицом к лицу, а ты, за-
спинная шпилька, подкрадываешься медяни-
цей, неспешной стопою.

— Пусть так, да ужалим-то мы оба одина-
ково.

— Отец Небесный! — вновь воскликнул
Назарий, возведя пламенный взор к небу. —
Перед Тобой я весь! Душа моя не темна и пе-
ред людьми, а наипаче перед Тобою. Ты ви-
дишь, способен ли я ужалить отчизну мою.

Родная моя, пусть прежде рассыплюсь я во прах, нежели помыслю что-нибудь недоброе о тебе.

Некоторое время он оставался в немом созерцании лучезарного неба.

Захарий что-то ворчал сквозь зубы.

Наконец, Назарий прервал молчание.

— Слава Тебе Господи! Нашла Тебя молитва моя, молитва скорбная, глас сердца моего доступен Тебе! — произнес он, вздохнув полною грудью, как бы после тяжелого сна. — Отлегло... на душе легче стало! Я не продаю отечества... Я отвожу лишь его от пропасти.

— Ведь и я тоже! — добавил самодовольно Захарий.

— Если совесть твоя отшатнулась от тебя, то я вместо нее растолкую тебе разницу между нами. Слушай же меня!.. Ты знаешь, как чувствуют имя мое, имя Назария, и доньине в Новгороде Великом, и в Пскове соседнем, и у латышей[32] с тех пор, как зарубил я на воротах Нейгаузена православный крест, даже самой Москве не неведом я, когда великий князь Иоанн припер ономясь наш город ко-

пьями да бердышами несметной своей рати, — я не последний подавал голос на вече, хотя последний произнес его на казнь славного изменника Упадыша — вечная ему память... И на мне есть пятнышко черное... и на меня брызнула кровинка его!

Назарий вздохнул.

— Ты знаешь, — продолжал он, — правы ли мы были поднять руку на потомка Ярослава Великого и на нашего государя? Чего нам хотелось, сытым, богатым? Правдива поговорка на Руси: «От жиру собаки бесятся». Накликали мы сами на себя гнев Божий и меч государев. Помнишь, чай, как мы глодали кулаки с голоду и, наконец, решились, да простит нас Господь, в пост Великий есть мясо и чье же, — палых лошадей и собак, которыми не показано питаться рабам Христовым. В это смутное время не я ли с Василием Никифоровым и прочими боярами и степенными посадниками молил князя снять осаду с города и позволить нам, сирым, похоронить по христианскому обряду тела павших братьев наших.

— Их без нас схоронил Ильмень[33], — вставил Захарий.

— Для тебя, конечно, все равно: муха ли утонула в стопе, из которой ты пьянствуешь, земляк ли захлебывается собственной кровью, но дело не в том. Не раз и моя кровь смывала ржавчину с мечей новгородских, а тело зазубрило вражеские. Не пальцами на руках, а волосами на голове следует считать мои заслуги. Но, недавно, кто заглушил голос мой на вече? Жена хитрая, баба поганая, человек неумный... Марфа Борецкая! Перед кем принуждали меня преклонить выю? Перед мозгляком, литвином, бродягой, полюбовником ее. Широка рана на груди отчизны, так они еще увеличивают ее злыми изветами на законного владыку своего, всякими неистовыми проступками! Я сказал, что сам побью челом великому князю от лица Новгорода Великого, чтобы он сжал его крепкой, самодержавной мышцей своей и наложил бы на него праведную десницу. Во что бы-то ни стало, избавлю земляков от домашних врагов, уличу злых, накажу дерзких, а после сам скажу всем новгородцам: «Я виновник вашего счастья, покарайте меня!» И если голос мой заглохнет в криках обвинителей, пусть торговою каз-

нью снимется с плеч голова моя — дело мое уже будет сделано. Вот для чего я согласился действовать с тобою и впервые в жизни осквернил язык свой ложью, которую мы произнесем перед великим князем на своих, навести согласился на отчизну одного врага, чтобы спасти ее от многих. Я чувствую, что в деле этом я прав и чист.

— Мы надели кафтаны одного покроя, больны одним недугом, теперь едим из одного сосуда, пьем из одной братины, один топор грозитя на нас! — сказал Захарий.

— Ну, да... послушай, — прервал его Назарий, — всем я был доволен, на душе светло, на сердце легко, да только вот съякшался с тобою, и думаешь ты, не узнал я, что нашептывал тебе московский наместник, как одарил тебя щедро великий князь в Москве. Он наметил тебя на поклон к нему как вечевого дьяка, зная, что звание это почетно. Так-то, хоть от рук твоих не пахнет, но я знаю, что они давно уже смазаны московским золотом.

— Стало и ты знаком с нечистыми, коли все знаешь.

— Молчи лучше! Душа твоя темна, как дно

чернильницы, чернота ее пробивается иногда наружу. Так уж и быть, dokonчу я наше дело, а там пойду поклониться могиле святого Савватия, если только молитвы заступника Божия спасут меня от смерти. Услыши, Господи, обет мой и помоги исполнить его.

— Вот и Москва показалась! — воскликнул Захарий.

Исполин-город, колосс России, Москва златоглавая вдруг развернулась, как на ладони, перед взорами путников и ярко заблестала на солнце своими светлыми маковками.

Золоченые кресты храмов, казалось, сотканы были из слившихся солнечных лучей.

Картина была ослепительная.

Вдруг донесся от Москвы удар церковного колокола, за ним другой, третий и разлился торжественный благовест к обедням во всей столице.

— Кажись, ноне не воскресный день? Разве празднество какое, что так звучно гудят колокола в Москве? — сказал Захарий, снимая шапку.

— Святый угодник Божий Иоанне! Помози нам, благослови приезд наш! — произнес За-

харий, истово крестясь, и оборотился к Назарию. — Разве ты не знаешь, что ноне день Усекновения главы Иоанна Предтечи? А еще книжный человек!

— А, вот что. Так, значит, великий князь сегодня именинник. Вот кстати у нас для него готов подарок, — заметил Захарий.

XX

Москва в 1477 году

Подгородние деревушки и пригородные слободы московские тянулись длинными и грязными улицами, одна от другой в недалеком расстоянии. Промежутки между ними были менее полуверсты. Слободы отличались от деревушек тем, что были обширнее, чище, новее строениями и, вообще, красивее последних; первые принадлежали казне, что можно было заметить по будкам, которые служили тогда жилищем нижних чинов полиции и подьячих. В каждой слободе было по одной такой будке. Некоторые из слобод, прилегавших к самой Москве, составляли с ней одно целое и потому назывались пригород-

НЫМИ.

Проехав несколько таких деревушек и слободок, наши путешественники въехали в большую слободу, отличавшуюся более кипучею деятельностью и многолюдством. Поминутно мелькали перед ними обыватели: кто с полными ведрами на коромысле, кто с кузовами спелых ягод, и все разодетые по праздничному: мужики в синих зипунах, охваченных разноцветными опоясками, за которыми были заткнуты широкие палицы, на головах их были шапки с овчиною опушкой, на ногах желтые лапти; некоторые из них шли ухарски, нараспашку, и под их зипунами виднелись красные рубашки и дутые модные пуговицы, прикреплявшие их ворота; бабы же — в пестряных паневах, в рогатых кичках, окаймленных стеклярусовыми поднизьями — кто был зажиточнее, — а сзади златовышитыми подзатыльниками.

Все встречавшиеся низко и приветливо кланялись нашим путешественникам.

— Путь дорога, бояре!

— Бог в помощь!

— Спасибо!

— С праздником!

— Спасибо, спасибо!

Такие восклицания слышались со всех сторон.

— Не позволите ли остановиться, бояре, да дать передохнуть животным своим и покормить их — ишь, как они упарились, — слышался голос одного из выбежавших из избы мужиков.

— Да и самим бы перекусить чего-нибудь! — кричал другой мужик, подбегая к путешественникам.

Он еще издали им кланялся, горбился, вытягивал голову и тряс своими волосами.

— У меня бураки из свежей свеклы! — выкрикивал один.

— У меня щи из кочанной капусты! У меня папушники пухленькие, горяченькие, только что с пылу! У меня пышки подовые с сытой! — закричали вдруг несколько голосов из окружавших путников.

— Нет, братцы, благодарствуем на приглашении, нам привал в Москве.

— А у нас-то что? Разве другой город? — сказал один, видимо, обидевшись.

— Пусть их добираются до Загородья, аль до посада, там подороже поплатятся! — заметил другой.

— По нас, хоть за посад, только там теперь порожнего угла не найдешь, в избе душно, да они битком набиты, а за чистую светлицу отдашь полгривны на день за постой!

— Ништо... Не в Кремль же их пустят для нонешнего дня, там и без них много приезжих, так что маковой росинки, чай, негде упасть.

— Если вы хотите, добрые люди, угостить нас, — сказал Захарий, перебивая говор окружающих, — то вынесите нам по ковшу квасу.

Мигом несколько человек бросились к своим домам, принести целый жбан и, зачерпнув ковшиком, подали Захарию, а затем и остальным, уверяя, что квас прямо с ледника и такой холодный, что только глядя на него уже заноют зубы.

— Ну, теперь закусите, бояре, белым калачиком. Чай, проголодались, уже обедня поздняя, а ныне вы наверняка ничего еще не вкушали, заморите червячка, нам, грешным людям, еще рано, грешно, а вам, дорожным, Бог

простит, — говорили разом несколько человек, насильно суя в руки путникам калачи.

Назарий кинул им несколько кунь[34], и проезжие поехали далее.

— Ну, братец, уж о сию пору москвичи сказываются, видно, что не промахи, умеют деньгу нажать, а нажатую беречь. Что-то будет далее? — сказал Захарий, почесывая затылок.

Через несколько времени, при въезде в одну улицу, показались на ней рогатки, отодвинутые в сторону с дороги и означавшие начало настоящего города, хотя тогда это место называлось Загородьем.

Оглядывая пристально проезжаемые им места, Захарий продолжал говорить:

— Вот мы и в Москве! Да как она разрослась, разубралась, раскинулась на все стороны — и узнать ее нельзя! Помнится мне, прежде стояли тут избенки одна от другой на перелет стрелы, а ноне как будто все под одной крышей.

На самом деле громады деревянных построек, без симметрии, без вкуса, тянулись длинными рядами и составляли кривые уз-

кие улицы, которые вдруг раздваивались от выстроенных посреди их теремов, церквей. Глухие переулки оканчивались поперечными зданиями также теремов боярских, вышек, высоких заборов со шпильками, в угрозу во-рам, которые бы вздумали лезть через них, и каменных церквей с большими пустырями, заросшими крапивой и репейником, из которых некоторые были кладбищами, и на могилах мелькали выкрашенные кресты и белые, поросшие мхом камни.

Самые задние казались нестройными потому, что подле двухэтажных хором, обнесенных тесовой оградой, стояли покосившиеся, низкие, вросшие в землю избы, огражденные поломанным тонким частоколом. Не только посреди Москвы были тенистые рощи, пруды, озера и зеленые волнистые луга, но почти каждый боярин и зажиточный человек имел на своем дворе тенистый сад, по преимуществу из диких яблонь. Через тын сада перева-ливали головки свои статные подсолнечники, а в самом саду пестрились гирлянды разноцветного мака, ноготков и проч. В большинстве садов были рыбные пруды — чи-

стые, зеркальные, цветистые лужайки, улья пчел. Кроме того, на дворе были разные строения: часовни, амбары с запасным хлебом, кладовые с железными дверями и подвалы, теплые особые светлицы, вышки, мыльни, голубятни, толстые необхватные столбы с блестящими на них медными кольцами, в которые застольные гости хозяев вдевали удила своих коней. Дворы были гладко вымощены бревнами, имели снаружи на воротах навесы, а под ними иконы. Глубокие погреба хранили крепкие меда и греческие и фряжские вина.

Богатство и роскошь бояр составляли еще божницы, в которых находились иконы в богатых серебряных и золоточеканных окладах; драгоценная посуда серебряная и золотая, кубки, ковши, братины, блюда, тарелки, и проч., нарядная одежда из шелка и парчи, с узорчатыми нашивками из золота и драгоценных камней, и наконец, множество слуг и холопов, обельных, закабаленных и закупных [35].

Имущество же бедных огнищан[36], купцов черных сотен и слобод[37], половных[38] и прочих людей состояло из ветхих хибарок с

соломенными крышами, с небольшим двором, внутри которого виднелись жердь с веревкою и бадьей для колодца, да длинные гряды с капустой, свеклою, редькою, морковью и другими огородными овощами.

Такова была Москва в описываемое нами время, за исключением Кремля, описанию которого мы посвятим особую главу.

В настоящее время остались только некоторые храмы, на которых не изгладились еще следы глубокой древности нашей родной столицы. Другие же памятники хотя и носят название древних, но реставрированы до неузнаваемости.

Единственное, что напоминало и тогда сегодняшнюю Москву — это неумолкаемый говор народа, особенно на торговых площадях в праздничные дни.

Этот говор поразил приезжих новгородцев сильнее вида самого города.

XXI

В Кремле

Колокольня церкви Иоанна Лествичника была в описываемое нами время колоссальным сооружением московского Кремля и на далекое расстояние бросалась в глаза, высь над низкими лачужками. Впрочем, чем ближе путник приближался к Кремлю, тем лучше, красивее и выше попадались хоромы, двухэтажные терема с узенькими оконцами из мелких цветных стеклышек, вышки с припорками вместо балконов, для голубей, обращенными во двор, и густые сады.

Великолепный же сад, находившийся на берегу Москвы-реки, хотя и был разбит на низменном месте, но его букетные рощицы из молодого орешника, перемешавшиеся с густым малинником, виднелись издалека. Подле великолепного сада, отделенного высоким тыном, были сады бояр, полные густолиственных деревьев и пестрых цветов.

Картина этих сплошных садов была особенно великолепна весною и летом.

Сады эти, конечно, не были распланированы, и дорожки в них протаптывались в большинстве случаев самими хозяевами.

Множество балаганов, разных гостинных, купеческих и монастырских подворьев, скученных около Кремля, не заграждали его высоких бойниц, доминировавших над всеми этими постройками. На высоких, от времени поседевших и во многих местах поросших мхом каменных зубцах кремлевских стен видлись плющ и павилика.

Весь Кремль обнесен был широким тыном, низ и бока которого были выложены кирпичами, а к воротам вели деревянные мосты с крашеными перилами.

В самом Кремле скученность построек была еще больше. Громадное пространство занимал один дворец, в котором находились разные палаты и хромины, писцовые и приемные дворы: соколиный, кухонный, мыльный[39], ясельничий[40], службы, кладовые, погреба, запасные подвалы и разные великокняжеские хранилища. Особенно замечателен был тайник, или подземный ход, вокруг всего Кремля, относящийся, вероятно, к XII

столетию времени владычества татар и имевший своей целью прикрытие от набегов этих варваров.

Кроме двора с его многочисленными пристройками в Кремле находились соборы: Успенский, Архангельский, Спас на Бору, Чудова монастыря, Рождества Иоанна Предтечи, а подле него митрополичий дом, Думная палата[41], в которой заседали думные или советные бояре и в которой решались все важные государственные дела; ордынское подворье, терема ближних бояр, ворота: Боровицкие, Тайницкие, Флоровские, Константино-Еленские.

Среди толпы народа, валом валившей в Кремль, пробирались и наши знакомцы, Назарий и Захарий. У Боровицких ворот они слезли с лошадей и, передав их с кое-какой поклажей своим холопам, приказали им ехать в дом их знакомого и родственника Назария — князя Стрига-Оболенского, а сами, сняв шапки, перешли пешком через мост в Кремль и, смешавшись с все возраставшею толпою, стали подходить к Успенскому собору.

В это время только что кончилась обедня и раздался колокольный звон, означавший выход великого князя.

— Тише, тише! — слышался голос от церкви.

— Тс! Князь, князь! — раздалось со всех сторон и говор народа моментально смолк.

Хотя дворец находился недалеко от собора, но во время парадного шествия, для соблюдения церемониала, великому князю подан был праздничный возок, запряженный шестью рослыми лошадьми ногайского привода. Шлеи у лошадей были червчатые, уздечки наборные, серебряно-кольчатые; отделан возок был посеребренным железом и обит снаружи лазуревым сафьяном, а внутри голубою полосатою камкою, седельные подушки были малиновые шелковые с золотою бахромою. Бока возка были расписаны золотом, а колеса и дышло крашеные.

Впереди ехали вершники[42], раздвигая народ, за ними московские копейщики под предводительством статного, богато разряженного юноши, а затем уже медленно двигался возок, в котором сидел великий князь

Иоанн Васильевич, милостиво кланяясь на обе стороны шумно приветствовавшему народу.

По сторонам возка шли с обнаженными головами первые сановники двора.

Вслед за ним несли на носилках, обитых алым бархатом, великую княгиню Софью Фоминишну с детьми и ее пасынком.

Она величественно сидела на парчовых подушках, унизанных жемчугом.

За носилками шли ближние бояре, окольниковичьи, стольничьи, кравчие и остальной придворный штат.

Толпы народа замыкали шествие.

Когда вся процессия остановилась у дворца, дворецкий[43], по повелению великого князя, обратился к народу и провозгласил:

— Для именин своих великий князь приглашает подданных на трапезу, устроенную против его палат.

Слова эти были встречены кликом восторга:

— Да здравствует отец наш, Иоанн Васильевич, с матушкой великою княгинею, с чадами и со всеми потомками своими!

Толпа хлынула к месту пиршества.

Между двух столбов, находившихся друг от друга на значительном расстоянии, были протянуты веревки, на которых висели калачи и мясные окорока; на стоявших тут же столах были нагромождены кучи пирогов, караваев, блинов, сырников и других яств. Возле столов стояли чаны с брагою и медом.

Угощение народа началось. Назарий заметил между сановниками, сопровождавшими возок великого князя Иоанна, князя Стригу-Оболенского, и последний, также узнав его в толпе, протолкался к нему и, заключая его в свои объятия, изумленно спросил:

— Какими судьбами очутился ты здесь?

— И сам хорошенько не знаю, как занесло нас сюда с товарищем, — отвечал Назарий, указывая на Захария, — и ответить не решусь: волею, али неволею.

Захарий отвесил князю неуклюжий поклон.

Последний продолжал смотреть на них вопросительно.

— Впрочем, здесь не место и не время рассказывать, — добавил Назарий.

— Так пойдёмте ко мне и отдохните у меня, а там я вас представлю нашему высокому имениннику, — сказал князь Стрига-Оболенский.

Все трое двинулись из Кремля в хоромы княжеские, находившиеся поблизости.

Быть представленными князю и было целью приезда новгородцев, и потому обещание Стриги-Оболенского пришлось им очень кстати.

XXII

Царь

Иоанн III Васильевич, царствовавший с 1462 по 1505 год, первый из русских государей стал именовать себя царем и был одним из величайших монархов России. Он довершил труды своих предшественников в собирании отдельных княжений в единое государство и своими мудрыми делами ясно указал цели и наметил тот путь, по которому и пошли потом его преемники вплоть до наших времен.

С 1425 по 1462 год в Москве был великим

князем внук Дмитрия Донского, Василий Васильевич Темный. Много этот князь потерпел несчастий на своем веку, но великое удовольствие доставлял ему подраставший сын. Слепой князь презирал духом великую будущность сына, и, кроме того, эта будущность была ему предсказана, когда Иван был еще отроком.

В Москву приезжал ходатаем за буйных своих сограждан один из святых мужей новгородских, архиепископ Иона. Во время беседы его с великим князем о делах Руси внезапно вошел в горницу сын и наследник Васильев — Иван.

Святитель взглянул на него и сказал:

— Вот кому Бог пошлет свободу от власти ордынской.

Затем долго в молчании глядел на отрока, на его разумные очи и вдруг закрыл лицо свое руками и, заплакав, сквозь слезы произнес:

— Отрок сей приведет и мою родину, Великий Новгород, под свою руку.

Василий Темный умер в 1462 году, 17 марта. Ему наследовал этот Иван, или Иоанн, два-

дцати двух лет от роду.

Двадцать лет прошло со времени взятия турками Царь-града.

В это время греки, — даже те, которые понадеялись было на папу и подписали соединение вер, — поняли, что спасение их может выйти только из самого православия, и так как из православных государств в то время, очевидно, возвышалось одно государство Московское, то на Москву и обратились с надеждой очи всего Востока.

У греков завязались теснейшие сношения с Москвою. Патриарх греческой церкви сам не мог приехать в Москву: ему нужно было бодрствовать за свою паству в отечестве; он и благословил российскому духовенству самому, соборне, выбрать себе митрополита.

Но звание защитника церкви, — лежавшее по преемству, от святого Константина Великого, на греческих царях, — греки задумали передать торжественно и по всем правам государю московскому.

Дело это они устроили таким образом.

Многие из греков проживали в Риме, но лишь по наружности признавали папу. Они,

и особенно грек, кардинал Виссарион, стали внушать папе Пию мысль, что с великим князем московским нужно обделать разом два дела: обратить его в католичество и получить помощь для борьбы с турками. Для этого надо-де постараться женить его на племяннице последнего греческого императора Константина Палеолога, Софье, которая в приданое принесла бы ему свои права на престол Константинов и обратила бы самого его в католичество; он-де вдов и молод, и против женской прелости и хитрости не устоит.

Папа с радостью ухватился за эту мысль и послал в Москву сватом грека же Георгия.

Это сватовство, как сказано в нашей летописи, «Иван Васильевич взял в мысль» и, поговорив с митрополитом и боярами, отправил в Рим смотреть невесту и вести переговоры своего посланца, итальянца, принявшего в Москве православие, Ивана Фрязина. Начались переписки, и дело длилось около двух лет. Наконец, невесту отправили в Россию.

— Ну, дочь моя, — говорил, отпуская ее, папа, — послужи римскому престолу, и будешь ты великая из жен, если еретического царя

Ивана приведешь в римскую веру.

Невесту провожал папский кардинал и хотел вступить в Москву торжественно, в своей красной мантии и чтобы впереди его несли большой латинский крест.

Он намеревался и венчать жениха и невестой по римско-католическому обряду.

Но за несколько верст от Москвы крест ему велели спрятать; невеста, как вступила в Москву, так и объявила, что никогда не изменяла православию, — и в тот же день, 12 ноября 1471 года, была обвенчана с Иоанном Васильевичем в Успенском соборе митрополитом.

Кардинал начал было разговор о вере, но когда митрополит изложил ему всю римскую неправду, он замолчал, сказав, что не взял с собой нужных книг, не ожидая спора, так как Иван Фрязин говорил в Риме, что здесь все согласны на соединение веры. Ему отвечали, что вольно им было верить. Фрязин-де никаких грамот с собой о том не имел, и за ложь великий князь прогонит его с очей своих.

И точно, великий князь прогнал его, но ненадолго, — потом опять принял на службу.

Кардинал с тем и уехал.

Папа римский остался ни при чем.

Иоанн же Васильевич, женившись на греческой царевне, принял на себя права ее предков, облачение императорское и герб византийских императоров — двухглавый орел.

Митрополит на торжественных службах, обращаясь к нему, стал называть его царем: «Божиею милостью радуйся и здравствуй, преславный царь Иван, великий князь всея Руси, самодержец»[44].

В грамотах своих к иностранным государям он стал именоваться царем и императором. При дворе завел царские обычаи и чины, как было у греческих царей; иностранных послов стал принимать в порфире, в шапке древнего греческого императора Константина Мономаха, и в его бармах и со скипетром в руке. Все царские украшения были Софьино приданое и привезены ею. В глазах своих подданных Иоанн Васильевич уже стал монархом, требующим беспрекословного повиновения и строго карающим за ослушание, возвысился до недостижимой царственной высоты, перед которою бояре и князья одного с ним корня должны были благоговейно прекло-

няться наравне с последним из его подданных. Таков был Иоанн — первый русский самодержец. До него князья московские, начиная с Ивана Даниловича Калиты, и московский народ, словно молча, не понимая друг друга, трудились над освобождением от татар, и в этой молчаливой работе, в этой тайне, которую знали все, но и друг другу не высказывали, — чувствовали свою силу и свое превосходство над жителями прочих русских областей, которые жили сами по себе, а об общем деле не помышляли и тяготы его не несли, каковы были, например, новгородцы.

Теперь дело было сделано: от Орды Русь была свободна. Народ русский, единый по крови, по вере и языку, имел вместо многих князей одного государя. Удаchi победы и великий ум Иоанна III еще более возвысили мнение русских о самих себе и о величии своего государя.

Когда же пал Царь-град и с ним прирожденный защитник православия, царь греческий, и Иоанн Васильевич женился на греческой царевне и на него перешло, вместе с царским венцом и царскими регалиями, вы-

сокое звание, права и обязанности великого и единого поборника истинной веры, тогда русские с гордостью стали говорить: «Государи наши во всем свете единые браздодержатели святых Божиих престолов! Чистое православное учение только в богоспасаемом граде Москве удержалось и паче солнца светится! Два Рима пало, третий стоит, а четвертому не быть».

XXIII

Начало новгородской смуты

Прежде нежели мы последуем за Стригой-Оболенским и его неожиданными гостями в княжеские хоромы, расскажем вкратце историю новгородской смуты и причину таинственного появления двух официальных представителей Великого Новгорода в ненавистой, как мы видели ранее, ему Москве.

По новгородским хартиям значилось, что пригород Москвы — Торжок и окружные земли издавна были под власть Великого Новгорода, но дед Иоанна III, великий князь Василий Дмитриевич, завоевал их и оставил за со-

бою, по договорным же грамотам с сыном, великим князем Василием Васильевичем, прозванным Темным, Торжок снова обратился под власть новгородского веча, а прочие земли остались как бы затаенные за Москвою и помину объявить не было. Думные и советные бояре новгородские много раз собирались на вече, чтобы решить, кому владеть ими. По праву они должны были оставаться за Иоанном Васильевичем, как приобретенная мечом, хотя и его предками. Так говорили разумные мужи, но молодость не хотела об этом и слушать.

«Подавай нам суд и правду!» — кричали они, не ведая ни силы, ни могущества московского князя. — «Наши деды и отцы были уже чересчур уступчивы ненасытным московским князьям, так почему же нам не вступить и не поправить дела. Еще подумают гордецы-москвитяне, что мы слабы, что в Новгороде выродились все храбрые и сильные, что вымерли все мужи, а остались дети, которые не могут сжать меча своего слабою рукою. Нет, восстановим древние права вольности и смелости своей, не дадим посмеяться

над собою».

У новгородцев того времени текла в жилах не кровь, а кипяток: зарони искру в одного, и во всех — полымя.

Так случилось и тогда.

Думали, думали, с чего бы начать действовать. Явно напасть на владения великого князя не хотели, а может быть и не смели, и потому начали действовать исподтишка, понемногу, захватя доходы его, воды и земли, заставляли присягать народ только именем Великого Новгорода, а о князе умалчивали, наконец, схватили великокняжеского наместника и послов и властью веча заключили их под стражу.

Великий князь, узнав об этом, прислал из Москвы гонца с требованием удовлетворения, но они его отослали без ответа.

Вскоре новгородский наместник Василий Ананьин поехал в Москву с земскими делами, но ни слова не сказал об этом деле великому князю. Последний сам сделал ему по этому поводу запрос.

— Я ничего не знаю, — отвечал Ананьин. — Великий Новгород не дал мне о сем

никаких повелений.

Князь промолчал, но когда стал отпускать его в обратный путь, то промолвил, прощаясь:

— Скажи новгородцам, моей отчине, чтобы они исправились, заточенных освободили бы с честью, в земли мои и воды отнюдь не вступались, а имя мое держали бы честно и грозно по старине, исполняя обычай крестный, если хотят от меня милости и защиты. Прибавь им и накажи помнить, что терпению бывает конец, а мое истощается... Ступай.

После отъезда Ананьина, великий князь послал боярина Селиванова с грамотою псковитянам, приглашая их, в случае войны, быть готовыми выступить в поход с московскими дружинами против ослушников. Наместником в Пскове был тогда Федор Юрьевич, великий воевода, храбро гонявший немчинов, как стаю трусливых зайцев, от области, ему вверенной. Псковитяне прислали великому князю судное право на всех своих двенадцати пригородах, а до тех пор московские князья судили и рядили только в семи, остальные же

оставались в зависимости от народной власти.

Псковитяне предложили новгородцам свое посредничество между ними и великим князем, но совет новгородский им отвечал: «Если вы добросовестны и нам не вороги, а добрые соседи, то вооружайтесь и станьте за нас против самовластия московского, а кланяться вашему владыке не хотим, потому что считаем это дело зазорным, да и ходатайства вашего не желаем, а коли вы согласны на наше предложение, то дайте знать и мы сами будем вам всегда верны и дружественны».

Вместо ответа псковитяне сообщили обо всем великому князю.

Это не устрасило новгородцев, они наделись на собственные свои силы и на мужество всегда могучих сынов святой Софии, как называли они себя, продолжали своевольничать и не пускали на вече никого из московских сановников. В это время король польский прислал в Новгород послом своего воеводу, князя Михаила Оленьковича, и с ним прибыло много литовских витязей. Зачем было прислано это посольство, долго никто не

знал, тем более, что смерть новгородского владыки Ионы отвлекла внимание от заезжих гостей.

Совет бояр и посадников, в числе которых был и Назарий, избрал протодьякона Феофила. Избрание произошло по жребию, взятому с престола святой Софии, куда был положен жребий протодьякона Феофила и ключника Пимена. Избрать-то избрали, а поставить его надо было в Москве по древнему обычаю. Как туда ехать без согласия великого князя? Решились, однако, послать боярина Никиту с просьбою к нему, к его матери и к митрополиту. Великий князь оказал милость, дал опасную грамоту[45], для приезда Феофила в Москву, а отпуская его обратно, велел передать новгородцам:

— Он вами выбран — и принят был мною с честью. Я готов жаловать вас, мою отчину, и всегда, если вы чистосердечно признаете вину свою и не забудете, что мои предки чествовались великими князьями Новгорода и всей Руси.

Новопоставленный владыка Феофил, тронутый приемом и милостями великого князя,

начал стараться прекратить распрю между ним и новгородцами и успел бы в этом, так как народ стал поддаваться на его увещевания, но вдруг открылся мятеж со стороны, никем неожиданной.

XXIV

Польская интрига

Вопреки наставлениям дедов и отцов, вопреки древним обычаям, запрещавшим женщинам принимать участие в политических делах народа, в один прекрасный день на вече появилась гордая, честолюбивая и хвастливая женщина — Марфа Борецкая. Она была вдова бывшего посадника Исаака Борецкого, мать двух взрослых сыновей. Богатства ее были несметны, знатность, красноречие, гостеприимство были известны всем далеко за пределами Новгорода; благодаря этим качествам, овладела она душами людей, все подчинялись ее уму и уменью излагать свои мысли. Слова ее так лились из ее уст, что ласкали слух и вместе подчиняли память до такой степени, что трудно было их изгнать из

ГОЛОВЫ.

В одно из заседаний веча, где находился Назарий, вдруг в советную комнату вбежала, прорвавшись сквозь стражу, стоявшую у входа, высокая, немолодая, хотя все еще красивая женщина. Вид ее был растрепан, покрывало на голове смято и отброшено с лица, волосы раскинуты, глаза же горели каким-то неестественным блеском.

Это была Марфа.

Она остановилась, обвела глазами собрание и, не дав никому опомниться от неожиданности, заговорила:

— Кого я вижу перед собой? Здесь ли вече Великого Новгорода? Куда девались советные мужи его? Я их не вижу! Это слабые ребята, которым пригрозили розгою, и они отступают от прав своих, отдают угнетенную родину, как агнца в зубы хищного волка.

Она перевела дух.

— Скройтесь отсюда! — грозно вскрикнула она. — Пустите нас, жен, на места свои: мы заведем в совет, мы будем защищать вас от врагов московских.

Долго говорила она, и что ни слово — все

больше и больше лилось с ее языка яду, что ни взгляд, то упрек, презрение...

Но нахальство восторжествовало: речь ее подчинила себе новгородское вече, и с этого момента Новгород оказался в ее руках.

Подчинился ей и сравнительно молодой Назарий.

Присутствие ее стало на вече делом обыкновенным.

Прошло несколько недель.

На одном из собраний она радостно объявила, что польский король прислал новгородцам запрос: не хотят ли они его помощи?

Немногие благоразумные из новгородцев поняли тогда, что означало прибытие Михаила Оленьковича с литовскою дружиною, но даже и сторонники Марфы находили решение вопроса, задетого Казимиром, опасным.

— Предложение выгодно, но и в золотом кубке можно поднести яду! — слышались замечания.

Вече призадумалось.

Литовцы между тем бесчинствовали и грабили в городе, позволяли себе выражать неуважение к народным представителям да-

же на вече, куда были призваны для выслушания ответов.

Архиепископ Феофил первый подал голос, что непристойно соединяться с литовцами. К нему примкнули бояре: Василий Никаноров, Захарий Овин, Назарий и еще несколько других.

Борецкая, присутствовавшая на вече, встала.

— Слушайте, чтобы после не раскаяться. Король польский хотел быть заступником нашим, а вы, недостойные, не хотите признать и оценить его милостей. Он требует с нас дани менее Иоанна, обещает не притеснять нас и всегда стоять крепко за будущую отчину свою против Иоанна и всех врагов Великого Новгорода.

Многие стали было возражать ей, но наемные клеветы ее заглушили голоса возражавших криками:

— Не хотим Иоанна, хотим Казимира! Да здравствует Казимир!

Марфа снова победила.

Дело сделалось, покорились даже благоразумные, в числе которых был и Назарий. При-

ложили все руки и печати к роковой грамоте и послали ее с богатыми подарками к Казимиру, прося не одного заступничества, но и подданства, то есть того, за что хотели поднять руку на своего законного правителя — Иоанна.

Вскоре от Казимира было получено подписанное им согласие.

Статья седьмая этого договора гласила:

«Если ты примиришь нас с Иоанном, князем московским, то обязуемся выплатить тебе, господину честному королю, всю народную дань, состоящую в годовом окладе».

Из этого было ясно, что легкомысленных новгородцев не особенно прельщала перспектива подданства Литве и что скрытой задушевной мыслью было примириться с Иоанном Васильевичем. Большинство рассчитывало, что он малодушно откажется от борьбы с Литвою.

Московские наместники были освобождены и жили по-прежнему спокойно на Городище. Им, конечно, не нравилась интрига Борейской, но в правление новгородских посадников они не мешались и лишь отписывали

обо всем великому князю. Новгородцы продолжали их чествовать как представителей Иоанна, и убеждали их, что от последнего зависит навсегда оставаться другом святой Софии, а между тем в Двинскую землю был уже отправлен воевода, князь суздальский Василий Шуйский-Гребенка, охранять ее от внезапного вторжения московской рати.

Вскоре от великого князя Иоанна была получена грамота, в которой он уговаривал мятежников смириться. Митрополит в приписи увещевал их на то же самое и, соболезнуя о народе русском, писал, что вдаются они в ересь нечестивую, как в сети дьявола.

На вече снова заволновались умы, и снова победа осталась за Марфой и ее сторонниками.

Грамоту оставили без ответа.

Терпение Иоанна истощилось, и он прислал новгородцам складную грамоту[46], исчисляя в ней все дерзости, которые они нанесли его лицу.

XXV

Война

Многочисленное войско, предводимое самим великим князем, выступило против Новгорода, Иоанн убедил князя тверского Михаила действовать с ним заодно, псковитянам приказал выступить с московским воеводою Федором Юрьевичем Шуйским, по дороге к Новгороду, устюжанам же и вятчанам идти на Двинскую землю под начальством Василия Федоровича Образца и Бориса Слепого-Тютчева, а князю Даниилу Холмскому — на Рузу.

Сын князя Оболенского-Стриги, Василий, с татарскою конницею спешили к берегам Мечи, с самим же великим князем отправились прочие бояре, князья, воеводы и татарский царевич Данияр, сын Касимов. Кроме того, молодой князь Василий Михайлович Верейский, предводительствовавший своими дружинами, пошел окольными путями к новгородским границам.

Новгородцы, наскоро набрав войско из раз-

ных званий и состояний, выступили против москвитян.

Войска встретились у самого Ильменя.

Завязалось жаркое дело.

Среди новгородцев было много новобранцев, а потому войско их не выдержало натиска дружин князя Холмского и боярина Федора Давыдовича и бежало.

Москвитяне победили, бросились вслед за беглецами. Началась страшная резня. Множество пленных новгородцев были трофеями победы. Им отрубили носы, уши, зубы и искалеченных отпустили в Новгород, а отнятое оружие топили в Ильмене.

«Изменническим оружием мы не нуждаемся!» — говорили москвитяне. Такой же перевес оказался везде на стороне последних. Среди пленных были посадники, начальствовавшие над войском, воевода Казимир и сын Марфы, Дмитрий Исааков Борецкий.

Боярский сын Иван Замятин представил их всех великому князю, находившемуся в Яжелбицах, и вручил ему договорную грамоту с королем польским, эту законопреступную хартию — памятник новгородской изме-

ны. Ее нашли в обозе, перехваченном еще накануне битвы.

Некоторых из пленных казнили на месте, а других, скованных, отослали в Коломну.

Оставалась одна опора Новгорода — князь Василий Шуйский-Гребенка, но вскоре пришла весть, что он, разбитый и раненый, бежал в Холмогоры. Явившись с полей битвы, обрызганные кровью и искалеченные воины произвели панику в городе — новгородцы спохватились. Им жутко стало и стыдно. Понадеялись на Литву, а литвины сами только вредили им: Михаил Оленькович бежал еще раньше битвы и по дороге разграбил Рузу. В Новгороде остался только советник Марфы, шляхтич Зверженовский, которого она скрывала в своем доме от народной ярости.

Уныло загудел, как бы застонал вечевой колокол. Сошлись на вече сыны святой Софии с поникшими головами. Думали, гадали и, наконец, решили во что бы то ни стало сопротивляться.

Повсюду наступил голод, появились недуги, продовольствия взять было неоткуда, так как все обозы перехватывали москвитяне. Во-

ины новгородские с башен и бойниц валились мертвыми грудями, да кроме того, некто Упадыш, бывший до того времени верным слугою отечества, заколотил огнеметы и этим довершил бессилие новгородцев к защите.

Упадыша отыскали, отрубили ему голову и труп бросили в ров.

В то же время пришло в Новгород известие о казни именитых посадников и в числе их Дмитрия Борецкого.

До тех пор никто из великих князей не решался покуситься на жизнь первостепенных бояр новгородских.

Архиепископ Феофил вразумил своих сограждан просить пощады у грозного, раздраженного Иоанна и взялся сам ходатайствовать перед лицом его о прощении.

Новгородцы дали ему свое согласие и полную свободу действий при заключении мира, и он со свитою, в которой находился Назарий, отправился к великому князю.

Смиренно преклонило посольство перед ним свои головы и упросило смилостивиться над своим народом и поберечь свою отчину.

Порешили на том, чтобы внести в его каз-

ну 50 пудов серебра[47], а затем платить ежегодно черную, или народную дань, возвратить ему прилегающие к Вологде земли, берега Пинегы, Мезени, Нелевючи, Выи, Песчальной Суры и Пильи горы. Эти места были уступлены Василию Темному, но после новгородцы снова отняли их. Архиепископов обязались ставить в Москве, у гроба святого Петра-чудотворца, в доме Богоматери, не принимать врагов великого князя: князя Можайского, сыновей Шемяки и Василия Ярославича Боровского, отменить вечевые грамоты и обещались не издавать судебных прав без утверждения и печати великого князя, и многое другое, и по обычаю целовали крест в уверение в исполнении ими всего обещанного.

Великий князь помирил со своей стороны новгородцев с псковитянами, и боярин Федор Давыдович, взяв на вече присягу, тем закончил дело.

Мир был заключен.

Марфа Борецкая скрылась в свои вотчины, но про нее великий князь не обмолвился ни словом в договорной грамоте, как бы презирая слабую жену.

Простился он с новгородцами приветливо и со славою возвратился в Москву.

В Новгороде наступили тишина и спокойствие.

Хотя он много потерял, но за то приобрел сильного защитника против других хищников.

За эти три года до приезда Назария в Москву, великий князь посетил Новгород, был встречен с почестями и в особенности среди новгородских сановников отличил Назария.

Последний действительно честно и искренно служил своему отечеству и рукой и головой, но почти перед самым приездом великого князя был обойден своими согражданами, — его обошли посадничеством и избрали, по проискам Борецкой, какого-то литвина.

Назарий, беседуя с Иоанном, высказал ему свою обиду и открыл ему свое сердце.

— Я стерпел за себя, но не могу стерпеть за отечество, — заключил он свой рассказ, — так как чует мое сердце, Марфа снова завладеет новгородскими душами.

Иоанн предложил ему приехать к нему в Москву и от имени Новгорода назвать его го-

сударем, что означало бы полное подданничество.

Назарий испросил время на размышление.

Три долгих года обдумывал он этот роковой шаг — одним словом передать во власть Москвы свое отечество.

Сильно и часто за эти годы билось его сердце. Жаль было ему родины с обеих сторон, но что было делать? Лучше отдать своему, чем чужим!

Назарий решил проехать в Москву.

XXVI

В доме князя Стриги-Оболенского

— Ну, теперь мы одни, — сказал князь Оболенский, усаживая гостей своих в светлице на широких дубовых лавках, покрытых суконными настилками. — Поведай же мне, Назарий Евстигнеевич, так как мы с тобой считаемся кровными и недальными, — ты мне внучатый брат доводишься, — волею или неволею занесла вас лихая стужа к нам, вашим ворогам?

— Не знаю, брат, — отвечал Назарий, —

как тебе на это ответить, тут все есть: и воля, и неволя.

— Да уразумел ли ты вопрос мой, на что он метит и о чем я речь веду?

— Как не уразуметь! А ты бы нас сперва напоил, накормил, да спать положил, а после бы и спрашивал: зачем-де вы, дальние птицы, прилетели на чужбину? Здесь не накормят вас пшеницей ярой, а с вас же последние перышки ощилят, — заметил Захарий.

— И, ведомо, так, — сказал улыбнувшись Оболенский. — Вы народ хитровой, сперва надо расплавить задушевные речи винцом горячим, а там они уже сами с языка польются.

Вскоре слуги устали стол яствами и пиями и удалились.

— С тобой, как с кровным, сердечным и старшим, — начал Назарий, машинально принимаясь за пищу, — хочу я вместе побеседовать, чтобы раздумать думу крепкую и растосковать тоску тяжелую.

— Ты знаешь, брат, — отвечал Оболенский с дрожью в голосе, — я теперь сир и душой и телом, хозяйка давно уже покинула меня, и, если бы не сын — одна надежда — пуще бы

зарвался я к ней, да уж и так, мнится мне, скоро я разочтусь с землей. Дни каждого человека сочтены в руке Божией, а моих уже много, так говори же смело, в самую душу приму я все, в ней и замрет все.

— Потому-то я тебя и избрал, как образец честности. Дело такого рода, — заговорил Назарий, поставив на стол кубок и отодвинувшись от стола.

— Так говори же, не мешкай, и у меня кусок колом становился в горле, — вопросительно взглянул на него князь, положив на стол ложку.

— Начну тебе издалека, как взбаламутились земляки мои. Помнишь ли, что было лет за пяток перед сим? Подробно ты не знаешь, впрочем, как и почему все случилось...

— Да, я оставался тогда править Москвой вместе с братом великого князя, Андреем меньшим, а сын мой Василий направился отсюда с татарской конницей прямехонько на берега реки Мечи, — прервал его князь Иван.

— Не забудь меня в присловье, — сказал насытившийся Захарий, прислонясь спиной к стене, — а я немного прикурну.

Назарий начал свой рассказ. Он подробно передал князю Стриге-Оболенскому все то, что уже известно нашим читателям из предыдущих глав, и высказал ему свой уговор с великим князем и цель своего приезда в Москву.

— Но где ты добыл себе этого чудака? Кто он таков? — вполголоса спросил Оболенский, указывая на Захария, который давно уже, сидя на лавке, раскачивался всем телом, с полуразинутым ртом в приятном усыплении.

— Его подкупил наемник московский сопутствовать мне. Он дьяк веча, чтоб в случае надобности, приложить и его руку в доказательство новгородцам, что мы посланы от них. Происками своими он сумел достигнуть такого важного чина. С виду-то он хоть и прост, неказист, но хитер, как сатана, а богат, как хан.

Назарий замолчал и лишь после довольно продолжительного раздумья, не прерываемого деликатным хозяином, заговорил снова:

— Все готов я перенести, даже отдать под топор повинную голову, если князь ваш не исполнит обещанных условий, но чем загла-

дить неповинную казнь Упадыша? Из любви к Новгороду поступил он так, чтобы спасти его и не дать повод разгромить его. Вот что выпытали у него перед смертью. А я подал голос против него... я открыл его измену!.. Живо помню я то время... как теперь гляжу я на эти седины, вдруг обагрившиеся алою кровью... А что тяжелей всего — с тех пор пропал без вести малолетний сын его... непризренный никем сирота. Должно, умер он с голода или холода! Эта мысль душит, терзает меня.

Наступило снова унылое молчание.

Вдруг князь Иван произнес как бы вдохновенно:

— Ты не виновен!..

Точно пудовая тяжесть скатилась с души Назария, взгляд его просветлел.

— Почему же ты считаешь меня белым между черными?

— Потому, что ты был только окутан черными пеленами, но когда архангел Господень, охраняющий всякого человека, внушил тебе оборвать таинственные сети, сплетенные рукою дьявола, ты вышел из них. И главы твоей не погибнет по слову Божию, без

Его произволения. Сын же мученика Упадыша, если жив, то, поверь, бережется также Отцом Небесным и призрен добрыми людьми. Судьба темна и мудрена. Может быть, ты найдешь его, заменишь ему родителя, и сойдет на вас благословение неба. Доверши же начатое. Тебе еще мало ведомо князь наш, но когда сам узнаешь, кого нам послал Господь в лице его, то возрадуешься и совершенно успокоишься. Видно, молитва православных нашла его и наступили времена светлые для нас, уже не те, когда Москва светилась заревами и раздиралась на части. Выстрадала она, сердечная, долю свою.

С сердечным умилением прислушивался Назарий ко всякому слову князя. Вдруг спящий Захарий встрепенулся и вскочил.

— А что? Пора? — бормотал он, вытаращив глаза.

Назарий невольно улыбнулся.

— Ты, видно, думаешь, что мы все еще в дороге? Эх она убаюкала тебя... Не очнешься...

Насмешливый тон Назария омрачил лицо новгородского дьяка в ту минуту, когда довольная улыбка было осветила его.

— Теперь время отправляться и в палаты великокняжеские, — заметил Оболенский.

Назарий вздрогнул.

— Итак, должно все решиться, — прошептал он.

— В руцех у Него милостей много. Не нам судить и разбирать, к чему ведет Его святой промысел. Нам остается верить только, что все идет к лучшему, — сказал князь Иван, указывая рукой на кроткий лик Спасителя, в ярко горящем золотом венце, глядевший на собеседников из переднего угла светлицы.

Назарий вздохнул с облегчением и, осенив себя крестным знамением, твердой походкой вышел вслед за князем и Захарием.

XXVII

В палатах великокняжеских

На широкий великокняжеский двор вела по Кремлю извилистая дорога, убранная по сторонам воткнутыми елками и березками и усыпанная белым песком с Воробьевых гор.

Народ после только что окончившейся пирушки, данной ему великим именинником, толпился по этой дороге в ожидании проезда бояр, князей и прочих сановников.

В иных местах слышалась залихватская песня, прерывавшая несмолкаемый говор толпы, — все были пьяны, довольны и веселы.

Но вот показался боярский поезд, потянулась цепь разнокалиберных возков и колымаг, и народ, заслышав стук колес и конских копыт, раздвинулся на две стороны, чтобы дать дорогу проезжающим.

Иные сторонились по собственной воле, а иные — вследствие неоднократного убеждения нагайками, которыми боярские вершники или знакомцы, в цветных платьях, с боль-

шими бубнами в руках, скакавшие перед каждой повозкой, щедро наделяли всякого, медленно сворачивающего с дороги.

— Что ты, охальный холоп, озорничаешь!

— А что ты, неторопиха, медведь, чуть поворачиваешься?

Эти возгласы слышались то и дело.

Поезд тянулся непрерывною полосой, и в нем, в одной из повозок, находился князь Стрига-Оболенский с своими гостями Назарием и Захарием. Не доезжая до высоких, настежь отворенных дворцовых ворот, все поезжане вышли из колымаг и возков и отправились пешком с непокрытыми головами к воротам, около которых по обеим сторонам стояли на карауле дюжие копейщики, в светлых шишаках и крепких кольчугах, держа в руках иные бердыши, а иные — копья.

Около ворот теснилась придворная челядь, глаза на великокняжеских гостей: псари, сокольники, кречетники, ястребники, кашевары, медовары, пивовары, ясельники[48], подьяки из писцовой палаты и других палат и приказов, шашарничьи[49], стремянные, стольничьи и проч.

Обширный двор дворцовый разделялся на маленькие дворики. В одном месте высились терема, вышки, в другом виднелись низкие кирпичные своды погребов, где хранились вина: волжские, греческие, фряжские и квасы.

Около самой Красной палаты, то есть приемной залы, двор расширялся в площадях, на которой тоже теснились люди из дворцового штата, а также юродивые и увечные нищие, разместившиеся у заднего крыльца палаты и получавшие мелкие деньги из рук дворцовых стряпчих[50], а получившие сидели по сторонам дороги, поджав ноги и кланяясь, выискивая между ними себе милостивцев.

По ступеням парадного крыльца и по косому коридору палаты змеился кармазинный ковер, тянувшийся по длинным и круглым с каменным полом полутемным сеням, так как освещавшие их смежные и узкие окна были расположены в самой верхней части купола. В конце сеней были другие двери, охранявшиеся двойной стражей копейщиков, ведущие в прихожую, в которой суетились высшие придворные чины: кравчие, стольники, по-

стельные, чайники, комнатные дворяне, степные ключники, путевые ключники, горошники, комнатные стражи, или гридни, и другие.

Все бояре, которых считалось при великом князе Иоанне III Васильевиче до двадцати, были в светлом, то есть праздничном платье, степенно раскланивались между собою и с придворными и с удивлением, искоса, поглядывали на новых лиц — на Назария и Захария.

В ожидании приема их великим князем для принесения поздравления и поднесения поклонных даров, они вполголоса беседовали друг с другом.

Вдруг кто-то произнес магические слова:
— Т-с... великий князь!

Все разом смолкло. Двери в Красную палату распахнулись.

Опишем вкратце внутреннее убранство этой палаты. В то время в России было еще мало вкуса и материалов для уборки комнат. Стены ее были обиты вызолоченными голландскими кожами; на одной из этих стен висели две большие картины в кипарисных рамах, изображавшие притчу о блудном сыне и

о трех отроцех, в печи сожженных, — вывезенных из Греции великою княгинею Софиею Фоминишною и считавшихся тогда большою редкостью; на другой стене, в таких же рамах, висело несколько картин мозаичной живописи с изображениями рыб и птиц. Пол был устлан широким персидским ковром с вычурными узорами. Про передний угол и находившуюся в нем большую божницу и говорить нечего. Иконы горели как жар! Дорогие камни и жемчужины, унизывавшие их золотые венцы, переливались всеми цветами радуги.

Великий князь, одетый в богато убранную из золотой парчи ферязь, по которой ярко блестели самоцветные каменья и зарукавья которой пристегивались алмазными, величиною с грецкий орех, пуговицами, в бармы[51], убранные яхонтами, величественно сидел на троне с резным высоким задом из слоновой кости, стоявшем на возвышении и покрытом малинового цвета бархатной полостью с серебряной бахромою; перед ним стоял серебряный стол с вызолоченными ножками, а сбоку столбец с полочками[52], на которых была расставлена столовая утварь из чистого лито-

го серебра и золота.

Над головою великого князя висела, искусно утвержденная к потолку, богатая, украшенная драгоценными камнями корона, из-под которой спускался балдахин из голубой парчи с серебрянными крест-накрест копиями, увитыми цветными гирляндами.

По сторонам трона стояли оруженосцы или телохранители великого князя, называвшиеся рындами, в белых длинных отложных кафтанах и в высоких, опушенных соболями шапках на головах. На правом плече они держали маленькие топорики с длинными серебрянными рукоятками и стояли, потупя очи и не смея шевельнуться.

Бояре, впущенные в палату, стали низко кланяться великому князю; он в свою очередь ласково приветствовал их наклоением головы. Каждый по очереди подносил ему на больших блюдах разную хлеб-соль: караваи, сгибень, именитые пироги и проч. На блюдах под ними лежало еще по несколько пенязей. Князь Михаил Вере́йский, отец Васи́лия Вере́йского, давно был у него и поднес ему серебрянное блюдо, полное разных дорогих ка-

меньев. Великий князь, принимая от каждого боярина хлеб-соль, давал в знак милости своей целовать руку[53] и ставил дары перед собою на стол.

По окончании поздравлений духовник великокняжеский стал говорить молитву, затем поставил под иконами водоосвященные свечи, освятил воду и, обернув сосуд с нею сибирскими соболями, поднес ее великому князю, окропил его, бояр и всех находившихся в палате людей. Великий князь встал, приложился к животворящему кресту и поднятому из Успенского собора образу святого великомученика Георгия, высеченному на камне[54], а за ним стали прикладываться другие.

По окончании богослужения великий князь снова сел на трон, а слуги стали накрывать столы: один для великого князя и князей Верейских, другой, названный окольниким, для избранных и ближних бояр, и третий, кривой, для прочих бояр, окольниких и думных дворян.

Князь Стрига-Оболенский, взяв за руку Назария и Захария, подвел их к великому князю и, низко поклонившись, сказал:

— Представляю тебе, государю и великому князю моему, сих двух людей... Вот этот, — указал он на Назария, — посадник новгородского веча, а сей — дьяк веча, — он указал на Захария. — Оба они прибыли к тебе, великому князю и государю своему, с делами, лежащими до тебя, и посланы к тебе собором всего веча.

Окончив представление, князь Оболенский отошел в сторону.

Только очень зоркий взгляд постороннего наблюдателя мог заметить изменившееся на мгновение выражение лица великого князя: взгляд его радостно заблестал. Но Иоанн, как тонкий политик своего века, тотчас овладел собою и ласково, но равнодушно ответил на низкий поклон неожиданных гостей. Он ждал их, но не так скоро.

После этого официального приветствия великий князь встал с своего трона и прошел в соседнюю храмину, подавая знак приезжим новгородцам следовать за собою.

Назарий и Захарий последовали за Иоанном.

Удивленные бояре столпились вокруг кня-

зя Стриги-Обо-ленского, ожидая узнать от него подробности и цель приезда новгородских представителей.

XXVIII

Пред лицом великого князя

Назарий и Захарий были одни пред лицом Иоанна.

Перед ними стоял тот, слава о чьих подвигах широкой волной разливалась по тогдашней Руси, тот, чей взгляд подкашивал колена у князей и бояр крамольных, извлекал тайны из их очерствелой совести и лишал чувств нежных женщин. Он был в полной силе мужества, ему шел тридцать седьмой год, и все в нем дышало строгим и грозным величием.

— Ну, что, созрели думы твои? Решился ли ты быть спасителем твоего отечества? — спросил Иоанн Назария.

— Отечество мое взывает к тебе о помощи. Избавь его от крамольников и огради силою власти твоей. Передаю тебе иго неискупно... невозвратимо. Государь! накажи беззаконие, притупи жало злобы... но не притесняй, за-

щити и награди достождолжно добро, — отвечал Назарий.

— Суд и правду держу я в руках. Теперь дело сделано. С закатом нынешнего дня умчится гонец мой к новгородцам с записью, в которой воздам я им благодарность и милость за их образумление. Пусть удивятся они, но когда увидят рукоприкладство твое и вечевого дьяка, то должны будут решиться. Иначе дружины мои проторят дорожку, по которой еще не совсем занесло следы их, и тогда уж я вырву у них признание поневоле.

— Государь, меч твой не обсох еще, а ты уже думаешь опять о крови... не заставь меня клясть, как Иуду, и...

— Даю тебе клятву, — перебил его великий князь, — ни одна кровинка не скатится на родную землю твою, если они не будут упорствовать... И даже тогда я постараюсь сберечь ее от гибели — ведь она русская, моя...

— Понимаю: мертвить, но не умерщвлять, — возразил с ударением Назарий.

— Раб, вспомни, перед кем ты стоишь и с кем дерзаешь перекопляться!.. Рассуди, что и без кротких мер я в силах налечь на Новгород

мечом своим и повергнуть его в прах! — вскричал Иоанн, и глаза его сверкнули гневом, а щеки покрылись румянцем раздражения.

— Государь! Яви милость, прости меня, — преклонил колена Назарий. — Рассуди и сам, — продолжал он, закрыв лицо руками, — что отдаю я тебе и на кого обрушится проклятие?

— Встань, я прощаю и понимаю тебя. Если ты признаешь справедливыми слова мои и держишься того же мнения, что земляки твои мечом своим не столько защищаются, сколько роют себе гибельную пропасть, то согласишься, не должно ли отобрать у них оружие? Если же они добровольно не отдадут его, то надо вырвать насильно, иначе они, как малые дети, сами только порежуются. Просвети же душу свою спокойствием и надеждой на меня.

— Я дело свое окончил и от тебя, наконец, услышал слово ласковое... с меня довольно.

Иоанн обратился к Захарию:

— А ты доволен ли, дьяк?

— Я не прочь. С моей стороны что обеща-

но, все исполнится, — отвечал Захарий, переминаясь с ноги на ногу.

— И с моей тоже, — сказал великий князь и, отыскав в сундуке своем, обитом железными обручами, кису, туго набитую деньгами, поднес Назарию и сказал:

— Знаю тебя давно, а потому не могу предложить принять это. Чем же наградить тебя, говори смело?

— Вечною милостью твоею к старой отчизне твоей, новоприобретенной тобою в вечное владение. Золото же твое горит, как жар, я страшусь принять его: оно прожжет руку мою; звук же его будит совесть, а не усыпляет ее. Благодарность Всевышнему, она еще бодрствует во мне, благодарность и тебе, государь, что ты не обижаешь меня подношением твоего гостинца. Все сокровища московские скудны ослепить очи души моей. Разум, доблесть твоя подкупили меня, закабалили в твою полную волю. И не страх грома оружий твоих вынудил меня решиться предаться тебе. Не столько мечом, сколько речью пронзаешь ты грудь. Теперь я весь твой...

Государь милостиво взглянул на него и

крепко пожал ему руку, которую Назарий с чувством поцеловал.

Направляясь в Красную палату, Иоанн опустил в жадно протянутые руки Захария отвергнутую Назарием кису.

Последний принял ее с довольной улыбкой и, вероятно, тоже опасаясь, чтобы она не прожгла ему ладоней, быстро отправил ее за пазуху.

Накрытые столы ломились от множества поставленных на них блюд, кубков, чар, стоп и бражек. Чашники, каравайники и гридни суетились около них.

Великий князь, войдя с веселым лицом в круг своих верховых[55], объявил им, что новгородцы прислали к нему этих двух именитых мужей, — он указал на Назария и Захария, — поклониться и назвать его государем своим от лица архиепископа, веча и всего Великого Новгорода.

— Изготовься с провоженною дружиною ехать к ним в повечерье. Я хочу обослаться с ними вестью и спросить их, что разумеют они под словом «государь»? — обратился он к боярину Федору Давыдовичу.

— Что разуметь иное, — отвечал Федор Давыдович, — как не совершенное покорение их под власть твою, государь!

Начались шумные поздравления и клики непритворной радости.

— Насилу-то хватились за ум!

— Что, видно, Литва-то не по губе при-
шлась!

— Не как прежде таращились!

— Спешили мы их!

— Теперь одной грудью будем отстаивать
Русь святую!

— Теперь пора ближайшую соседку, Тверь,
добыть мечом! — кликнул кто-то.

— Вестимо, — подхватили другие, — вишь,
слухи носятя, будто и к ним Литва бесовская
привела чуму свою.

Великий князь приказал бирючам[56] раз-
гласить народу о прибытии послов новгород-
ского веча и выкатить ему еще несколько бо-
чек вина, а гостей пригласил к трапезе.

Почетный пир начался.

Когда он близился к концу, Иоанн повелел
принести запись к новгородцам, и дьяк, со-
ставивший ее, прочитал ее вслух. Назарий и

Захарий приложили свои руки, а боярин Федор Давыдович почтительно принял ее от великого князя, обернул тщательно в хартию, в камку, спрятал ее, и, переговорив о чем-то вполголоса с Иоанном, поклонился ему и вышел поспешно из палаты.

— Быть войне! — шепотом заговорили бояре.

— Да, не миновать! — отвечали тихо другие.

— Дело сделано, полно крушиться, — заметил Стрига-Оболенский задумавшемуся Назарию.

— Да, не воротись, — вздохнул тот. — Теперь, может, уж роковая запись мчится...

— Не только врата моих хором, но и сердце всегда для тебя открыто, честный боярин! — сказал великий князь Назарию, прощаясь с ним.

Мы знаем, какое впечатление произвело в Новгороде получение записи Иоанна, и знаем также ответ на нее мятежных новгородцев.

Часть вторая Под власть Москвы

I

На берегу Наровы

Остзейские провинции были некогда достоянием Великого Новгорода и полоцких князей. Незадолго до нашествия татар и вторжений литовских полчищ начали исподтишка, в малом числе, показываться монахи и рыцари на ливонских берегах и с дозволения беспечных новгородцев и полочан строить замки и кирки. Когда две кровавые тучи, одна после другой, с востока и запада покрыли всю раздробленную Россию, тогда и наши немцы, усиленные прибытием многочисленных сподвижников, начали расширяться на севере. Татары нагрянули, вломились, немцы же воспользовались гостеприимством и засели, мечом начали крестить несчастных эстов и скоро захватили два русских города, Юрьев и Ругодив (названный ими Дерптом и недавно снова переименованный, и Нарву), не считая

селений, переименованных ими на немецкий лад; если бы не могущество республик новгородской и псковской, они бы проникли во внутренность России.

В описываемое же нами время их самих в захваченных ими владениях часто беспокоили новгородские вольные дружины под предводительством молодцов-охотников.

В борьбе с издревле ненавистными для русского человека немцами искали вольные дружинники ратной потехи, когда избыток сил молодецких не давал им спокойно оставаться на родине, когда от мирного безделья зудили богатырские плечи. Клич к набегу на «божьих дворян», как называли новгородцы и псковитяне ливонских рыцарей, не был никогда безответным в сердцах и умах молодежи Новгорода и Пскова, недовольной своими правителями и посадниками — представителями старого Новгорода.

Немцы со своей стороны принимали меры к ограждению себя от набегов русских и платили им за ненависть ненавистью, не разрешая вопроса о том, что самовольно сидели на земле ненавистных им хозяев. Они и в описыв-

ваемую нами отдаленную эпоху мнили себя хозяевами везде, куда вползли правдою или неправдою и зацепились своими крючкова-тыми лапами.

С берегов реки Москвы перенесемся же и мы, читатель, в страну этих немецких пауков, на берег реки Наровы, вслед за дружиной новгородскою, под предводительством Чурчиллы и Димитрия, покинутых нами, если припомнит читатель, при выезде их из Новгорода.

В трех верстах от города Нарвы, близ местечка Кулы, река Нарова образует водопад, и светлые ее воды с шумом низвергаются с высоты четырнадцати футов по острым, как бы отточенным камням, разбиваясь об них в мельчайшие брызги, далеко по сторонам рассыпая водную пыль и разнося однообразно гудящие звуки.

Невдалеке от берега, на разостланных войлоках сидели знакомые нам Чурчило и Димитрий.

Оба молчали, погруженные в глубокую думу.

Вокруг них, вповалку, лежали товарищи,

плотным кольцом окружая своих предводителей.

Царившая тишина нарушалась лишь гулом водопада, а вокруг этого стана вольных дружинников расстилались необозримые обожженные поля и дымилось селение Кулы, накануне взятое ими на копье и выжженное дотла.

Все дружинники были в полном вооружении, что доказывало, что они не намерены были ограничиться вчерашним пожаром, а были готовы вскочить на коней и ринуться за новой добычей.

Их сильные шишаки, кроме наличников, имели назади опущенные сетки, сплетенные из железной проволоки, а наборные доспехи кольчуг, охватывающих их груди, доходили до колен; на ноги, кроме того, были надеты набедренники. Чурчило первый нарушил молчание.

— Куда же нам теперь метнуться? Разве на крепость Ниеншанц[57]. Догромить ее? — спросил он, ни к кому особенно не обращаясь.

— Мы и так в ней не оставили камня на камне, хотя и не спалили ее, как эту, — отве-

тил Димитрий, указав рукою на погорелые Кулы.

— Мне, надо сознаться, не хотелось об нее и руки марать, да все же эти железные дворяне Божии сами стали задирать нас, когда мы ехали мимо, пробираясь к замку Гельмст, — они начали пускать в нас стрелы... У нас ведь и своих много, — заметил Чурчило.

— Вестимо, не спускать же немчинам, — вставил свое слово один из дружинников, Иван, по прозвищу Пропалый, и поправил свой меч, висевший на широком ремне через плечо.

— Не пора ли и восвояси, кажись, довольно побушевали, — сказал Димитрий.

— Восвояси! — воскликнул с горечью Чурчило. — Да лучше в ад кромешный! Давно ли мы здесь, да и что делали? Это была не драка, а ребячья игра!..

— Выгодная присказка, особенно когда не пропадет охота меряться плечом с сильным врагом, — промолвил Пропалый.

— Да, когда разойдется рука, только помни это присловье, стыдно уже станет попятиться, — сказал Чурчило.

— Мы, кажись, так и поступаем, а ты служишь примером, я был всегда твоим однополчанином и следую давно этому правилу. Верно ли говорю я? — спросил Чурчилу Дмитрий.

— Что тут говорить, конечно, так. Да и к чему это? Разве мы сомневаемся в тебе, Дмитрий. Не тебе это говорить, не мне бы слушать.

— Да так, к слову пришлось. А теперь, когда я доподлинно знаю, что слова мои не сочтешь за язык трусости, я далее поведу речь свою. Широки здесь края гарцевать молодцам, много можно побрать золота, вино льется рекой, да и в красотках нет недостатка, но в родимых теремах и солнышко ярче, и день светлее, да и милые милей. Брат Чурчило, послушайся приятеля, твоего верного собрата и закадычного друга: воротимся.

— Нет, родина теперь для меня — пустыня! Не смущай меня, не мешай мне размыкать грусть, или домывать жизнь. Поле битвы теперь для меня — и отчизна, и пища, и воздух, словом, вся потребность житейская, только там и отдыхает душа моя — в широком раздо-

лье, где бренчат мечи булатные и баюкают ее, словно младенца, песнею колыбельною. Не мешай же мне! Я отвыкаю от родины, от Насти.

— А сам чуть не плачешь! Вижу, что затронул твою сердечную рану, но рассуди сам, враги рыкают, как звери, на родину нашу, да, может, и Настя не виновата. Сдается что-то мне, что мы с тобой сгоряча круто повернули. Теперь же молодецкое сердце твое потешилось вдосталь, отдохнуло, так и довольное! Мы ведь здесь пятнадцатые сутки, а за это время много воды утекло, может, все изменилось и нас опять приголубит там счастье.

Чурчило повесил голову и задумался.

Вдруг Пропалый завидел всадника, который, заметя русский стан, торопился ускользнуть из его вида и поспешно своротил в сторону с дороги. Не вымолвив ни слова, быстро вскочил Иван на коня, вонзил в его бока шпоры, и звук копыт через мгновение заглох вдали.

Дружинники опомнились лишь тогда, когда Пропалый исчез из вида.

— Это какой-нибудь соглядатай, право сло-

во, недруг нам! Семка, я помогу Ивану ссадить его с коня и допросить путем! — встал Димитрий.

— Нет, не стыди и не обижай Пропалого, он и один заарканит его... Вишь, вон что-то чернеется вдали! Вон еще недалеко от него... Это он, кажись... догоняет, догоняет, близко... Лошадь его так и расстиляется; ну, остановился. Что это? Вдали утекает кто-то, а на месте, должно, возятся?

Все вперили взоры свои в туманную даль, и вдруг вся дружина захлопала в ладоши в радостном восторге.

Они приветствовали победу Пропалого.

II

Пленник

Иван в самом деле быстро возвращался назад, волоча за собою на веревке сраженно-го им всадника, конь которого радостно мчался без седока по широкому полю.

— Бог помочь! Как у вас дело обошлось? — посыпались ему навстречу вопросы...

— Обошлось очень просто... Молодецкий конь разом стал догонять чужака... Я ему крикнул: «Стой и отдай оружие!» А у него, видно, норов-то упрямый. Куда тебе! Вытащил меч из ножен и давай им отмахиваться, не говоря ни слова, да шпорить коня. Я, видя, что словами не возьмешь его, послал вдогонку стрелу... Он в этот миг повернул в сторону, а стрела вонзилась в лошадь, получше чем его шпоры. Та закружилась под ним, подпруга, даром что кованная, разметалась в стороны, седло скользнуло набок, а он с ним. Тут-то я и зацепил его, как волка, да и айда к вам. А лошадь его с перевернутым седлом понеслась вихрем, закусив удила, — рассказывал уста-

лый Иван, соскочив с лошади, в кругу обступивших его товарищей.

— Ты, Пропалый, нигде не пропадешь, — сказал подошедший Чурчило, осматривая пленника. — Спасибо, товарищ, от всех спасибо! Однако раскупорить бы беглеца. Долой с него шлем и латы, не таится ли чего под ним.

Пойманный лежал неподвижно. Затянутый арканом, долго волочился он по кочковатой дороге за Пропалым, лицо его было во многих местах окровавлено, а налившиеся кровью глаза полуоткрыты.

— Латы его подбиты хлопчатой бумагой, должно быть, от стрел! — говорил один из дружинников, развязывая кольца и застежки вооружения пленника.

Затем он опустил руку в его котомку, вытащил кипу бумаг, бросил их по ветру и заметил:

— От этих латышей, кроме пустых фляг да пробок, ничего не дождешься!

— Постой, может, это нужные грамотки, — сказал Димитрий, собирая разметанные по полю ветром бумаги и пристально вглядываясь в них. — Ишь, ведь как писали-то! Сам

черт прежде ослепнет, чем разберет и поймет, что здесь написано; я малую толику знаю грамоте, а от этого отступлюсь. Этот лесной народ перенял язык у медведей, так диво ли, что по-нашему редкие из них смыслят.

— Лучше допросить его на словах, поделнее, так сознается, куда и зачем ехал и что содержится в этих бумагах. Быть может, они и до нас касаются, — заметил Чурчило.

— Эй, оборотень, немчин бессловесный, вымолви что-нибудь! Кто ты таков и куда тебя Бог несет? — стал допытываться Иван, тебя за полу пленника.

Тот что-то глухо пробормотал и снова замолк.

— Да из него и обухом не выбьешь слова! — слышалось чье-то замечание.

— Мычнул, да и в попятную. Так нет же, я выпытаю у тебя сознание. Вот как отпорю нагайкой, скажешься, нехотя весь рассыплется в словах! — сердито вскрикнул Иван, доставая нагайку, притороченную к седлу, и только что хотел привести в исполнение свою угрозу, как кто-то из толпы закричал:

— Глянь-ка, братцы, назад. Вишь кто-то си-

дит на берегу, словно прирос к нему. Наши все здесь налицо, сорок пять человек, Чурчило, да Димитрий, да Иван, никто из наших не отшатывался с места, а этот, должно, вынырнул из воды, окаянный.

— Ну, что ж... Разом — к нему, хоть будь он нечистый: двух смертей не бывать, одной не миновать, мы же не нехристи, все с крестами.

Дружинники вскочили и побежали толпой к сидевшему в довольно далеком расстоянии от них.

При пленнике остались Чурчило, Димитрий, Иван и несколько дружинников.

— Это, кажись, наш, русский. Эй, земляк, кто ты?.. Оглянись! — кричали ему взад дружинники, не решаясь приступить к нему поближе.

Незнакомец молчал.

— Друг ты наш или враг, отвечай?

— Пойдите-ка, братцы, попробуем мы, возьмет ли наш гостинец! — сказал один из дружинников и начал натягивать тетиву у лука, и когда стрела, прицеленная в сидящего, готова была полететь в цель, незнакомец, как бы придя в себя, нетерпеливо крикнул

ЗЫЧНЫМ ГОЛОСОМ:

— Чего вы хотите от меня, разбойники придорожные? Я в чужой земле, без защиты.

— Так и есть, что наш! Но что он тут делает?.. Рыб, что ли, скликает?.. Видно, знает, как их звать по именам.

Тут таинственный незнакомец обернулся и глаза его дикой злобою сверкнули из-под черных нависших бровей.

Дружинники отступили в изумлении.

На камне, вросшем наполовину в землю и покрытом диким мохом, под огромным вьзом, от которого отлетали последние поблекшие листья, сидел смуглый широкоплечий мужчина в нахлобученной на самые глаза черной шапке и раскачивался в разные стороны. Его стекловидные зеленоватые глаза угрюмо следили за катившимися у ног его волнами, озаренными последними лучами заходящего солнца. Одна тень, сторбленная, длинная, далеко откинувшаяся на берег, могла спугнуть дерзких любопытных, пожелавших бы рассмотреть мрачную физиономию неизвестного путника, для которого природа, видимо, была злою мачехою.

Неизвестный не мог не слышать шума шагов приближающейся к нему толпы, но он не обратил на это никакого внимания и, не оглядываясь и не трогаясь с места, продолжал медленно раскачиваться из стороны в сторону, и при этом движении шатался на его боку широкий нож с черенком из рыбьего зуба.

III

Павел-колдун

— Павел! чернокнижник! злой кудесник! Колдун!.. Как он здесь очутился? Видно, лесовик довез его, на хребте своем! Пришибем его, братцы, избавим землю от лихого зелья! — закричали почти в один голос.

— Земляки мои, братья! Нет, не чуждайтесь меня! — воскликнул Павел, прикинувшись радостно-изумленным. — Теперь я не тот нелюдим, от встречи которого вы бежали прежде, я смиренный, кающийся грешник. За вас, мои братья, жизнь моя, молитва и руки.

— Врет, прикидывается... Погодите, еще не то заговорит, а дьявол, который в него вселился, ишь как корежится! Перехватить ему

горло, да и в воду. Пусть его оттуда освобождают нечистые его побратимы, а мы свое дело сделаем, благо есть случай.

— Нет, лучше привяжем его к камню, да свалим в волны, а то нож так заржавеет в крови его, что не ототрешь никакими заговорами. Страшно будет опоясаться им, как зельем.

Так рассуждали обступившие Павла дружинники.

Дико блеснул он глазами, крепко стиснул кулаки и судорожно вытянул перед собой руки, как бы защищаясь.

Дружинники между тем еще более приблизились к нему и некоторые уже схватили его и стали тормозить.

— По крайней мере, дайте мне проститься со светом Божьим! — заговорил он упавшим голосом.

— Уж ты давно отклепался от человеческого имени, и давно пора тебе туда восвояси; там за тебя давно уже и паек получают! — отвечали ему.

— Дайте мне хоть повидаться с Чурчилюю. Ведь вы, чай, с ним?

— Что за свиданье! Ты уязвил его, как змей-горыныч!.. Мы давно добирались до тебя; а теперь, зная, черти выдали, что насунули на нас. В Новгороде отец твой силен, оборонит кого захочет, а здесь мы тебя, — заговорил один дружинник и, схватив левой рукой Павла за бороду, правой занес над ним руку с ножом.

Павел весь съежился и зажмурился, чтобы не видеть опускавшегося над ним блестящего лезвия, и даже преждевременно дико вскрикнул.

— Да пусть его взглянет последний раз на Чурчилу... Пожалуй, осерчает, что не допустили до него Настасьина брата, хоть любит он его, как собака палку, — сказал другой дружинник, останавливая опускающуюся было над головой Павла руку товарища.

— Ну, быть так, сволокем его к нему, да заклепите покрепче ему руки и ноги, а то ведь он хитер, проклятый, вывернется, — решили остальные дружинники.

Корчившегося от бессильной злобы Павла дружинники крепко-накрепко связали по рукам и ногам и, окружив, потащили его за ве-

ревку, подгоняя сзади палками по чем ни попало.

— Что это, еще пленника, али зверя какого тащат наши? — сказал Димитрий Чурчиле, указывая на приближающуюся к ним толпу.

— Чурчило, это я, злейший враг твой! Упейся теперь моею кровью, я в твоей власти! — заговорил смело прерывающимся от ярости голосом поставленный на ноги Павел.

— Как? Павел? Лучше бы взглянул я на ехидну, чем на этого дьявола в человеческом образе! — вскрикнул Чурчило, и так ударил рукой по рукоятке своего меча, что все вооружение его зазвенело.

— Упросил, чтоб тебе его показали, — послушались голоса дружинников.

— Он знает, чем хуже наказать меня... Чего тебе нужно от меня? — обратился он к Павлу.

— Жизни твоей...

— А что тебе в ней и за что ты ненавидишь меня, подкупной, заспинный враг.

— Верно слово твое, я — подкупной, но меня подкупила братская любовь, — с ударением отвечал Павел.

Чурчило вздрогнул.

— Ты спрашиваешь, за что я ненавижу тебя? Но кого же любил я? Я — исчадие зла, все люди были мне противны, сам не знаю почему... Но сестра моя, эта кроткая овечка, Настасья, она давно примирила меня со всеми; она как бы не человеческим голосом уговаривала меня переродиться, и слова ее глубоко запали в мою черную душу. Она показалась мне ангелом, а голос ее песнью серафима, и я... повиновался...

Павел зарыдал.

Чурчило зашатался и приклонился к плечу поддерживавшего его Димитрия.

Немного погодя, он спросил:

— Не этот ли ангел Божий вразумил тебя покушаться на мою жизнь?

— Погоди и дослушай, после обвиняй, — начал снова Павел. — Я повиновался ей... нет, не ей; я не знаю, кто говорил ее устами. Душа моя созналась во всех поступках. Священное родство, любовь, все чувства человека разлились в душе моей, и новый свет озарил ее, я умилился и искренно назвал братом любимого ею Чурчилу.

— Как, разве у вас шла речь обо мне?

— Никогда не переставали мы о тебе беседовать.

— Все более и более непонятны, темны слова твои.

— Мудрено ли! Душа каждого — загадка, а у этого она — совсем потемки. Пожалуй, заслушаешься его, то и несдобровать тебе. Ему надо язык выгладить полосой раскаленного железа, а на руки и на ноги надеть обручи, или принять его в дреколья!.. До каких пор ждать конца его сказки? — с сердцем воскликнул Димитрий.

Павел скосил на него и без того косые глаза свои и сказал с упреком:

— Обшаривай душу темную, а светлая вся на виду.

— Что тут толковать, вы из одного гнезда с нечистым, одного поля ягода.

— Да не одинаковая, — возразил Павел. — Кем я был прежде — сознаюсь. А теперь, теперь ты сам, как злой враг человеческий, перетолковываешь смысл моих слов, и отказываешь мне, грешному, в возможности раскаяния, в освобождении от тяжелого гнета души моей.

— Экий краснобай! Как гладко он выстилает словами дорогу к сердцу всякого, — прервал его Димитрий.

— Пстой, Димитрий, твоя речь впереди, дай нам дослушать, а ему договорить, — сказал Чурчило.

— Пораспустите хотя немного мои руки, веревки больно стянули их; я честно исповедуюсь перед вами и тогда легко приму смерть, тогда и оковы телесные легки будут для меня, а если приму смерть, не буду влачить их. Господи, помилуй, поддержи меня!..

— Не богохульствуй, собака, я тебе засмолю рот, — снова не утерпел Димитрий и бросился на него с мечом, но Чурчило остановил его.

Павел с сожалением посмотрел на Димитрия и с тяжелым вздохом начал:

— Настасья любила тебя меньше Бога, но больше жизни. Ты покинул ее, несчастную, и обливается теперь она день и ночь горячими слезами, и сохнет, как былинка в знойный день. Это зажгло ретивое мое праведным гневом против тебя. «Сыщи его, — сказала она мне, — добудь, достань мне, или перенеси ме-

ня к нему. Я забуду стыд девичий, упаду на грудь его, обовью его моими руками и мы умрем вместе». На эту беду присватался к ней какой-то именитый литвин. Отец возрадовался этому и приказал ей принимать подарки и называться его, суженой. Где же было чувство твое к ней, когда ты покинул ее?

Чурчило дрожал, изменившись в лице, и не мог выговорить слова.

— Теперь, быть может, влекут ее к венцу с немилым женихом, или заколачивают останки ее в гроб тесовый. Я как будто слышу стук молотка, и холодная дрожь пробирает меня.

Он замолк и пристально поглядел на Чурчилу.

Последний стоял, как приговоренный к смерти. Лицо его исказилось от внутренней невыносимой боли.

Павел продолжал:

— Потому-то я и ринулся всюду отыскивать тебя, чтобы заставить вспомнить о покинутой тобою. Не утаю, я решился закатить тебе нож в самое сердце и этим отомстить за ангела-сестру, но теперь я в твоих руках, и пусть

умру смертью мученической, но за меня и за нее, верь брат Чурчило, накажет тебя Бог.

— Истину ли изрыгаешь ты? — грозно спросил его Чурчило.

— Соболезную о слепоте твоей. Что же ты медлишь. Дорезывай скорей кстати брата, а там присоединись к вольным шайкам московских бродяг и грабь с ними отчизну. Вместо того, чтобы защищать, ты отрекся от нее и рыскаешь далеко.

— Нет, ты брат Настасьи! Ты — мой брат! Я освобождаю тебя!

Послушался ропот дружинников, но Чурчило обнажил меч свой и крикнул:

— Чего вам надо? Крови? Вяжите меня, режьте, если поднимется рука.

С этими словами он разрубил веревки на руках и ногах Павла.

IV

Бегство

Яркие звезды засверкали на темном своде небесном, луна, изредка выплывая из-за облаков, уныло глядела на пустыню — северная ночь вступила в свои права и окутала густым мраком окрестности. Около спавшей крепким сном, вповалку, после общей попойки по случаю примирения Павла с Чурчилюю, дружины чуть виднелась движущаяся фигура сторожевого воина.

В глубокую полночь, когда и сторожевой склонил свою усталую голову на копьё, что-то тихо зашевелилось в середине спавших, чья-то голова начала медленно подниматься, дико озираясь кругом, силясь прорезать взглядом окружающий мрак.

Подле этой поднявшейся головы поворачивался пленник, рейтар ливонский, лежавший навзничь и силившийся вытащить руки из веревочных пут.

— Ты что, схвачен? — шепнул, приподнявшись, Павел (это был он) пленнику.

— А ты боишься меня, а я еще хотел помочь тебе. Не веришь, смотри, — продолжал он и перерезал двуострым ножом своим веревки, скручивавшие ноги пленника.

— Спаси меня, — тоже шепотом заговорил пленник. — Я герольд бывшего гроссмейстера ливонского ордена Иоганна Вальдгуса фон-Ферзена, владельца замка Гельмст. Он послал меня ко всем соседям с письмами, приглашающими на войну против...

Герольд остановился.

— Ну, договаривай смелей, на Русь, что ли, нашу? Я вам помощник.

— Ты!.. Да кто ты? Ведь ты русский? Как же?

— Не твое дело. Беги, скажи...

Он хотел было совершенно освободить его, перерезав веревки и на руках, но вдруг остановился и спросил:

— А далеко ли Гельмст?

— Перейди поле и лес, повороти налево и поезжай наискосок по дорожке; к утру будешь в замке.

Павел разрезал веревки на руках пленника.

— Ступай, но коня уж оставь волкам на закуску, а то к копытам мои земляки чутки, как медведи к меду: услышат и захватят опять. Выберись отсюда лучше на змеиных ногах [58], расскажи своим, что русские наступают на них, поведи их проселками на наших и кроши их вдребезги! Ступай, а мне еще надо докончить свое дело.

Пленник вскочил на ноги, затем пригнулся к земле и начал медленно, озираясь, пробираться между сонными дружинниками, спавшими богатырским сном.

Чурчило, утомленный походом и взволнованный встречей с Павлом и в особенности словами последнего, лежал в каком-то тяжелом полусонном забытьи, и молодецкая грудь его тяжело вздымалась под гнетом удручающих сновидений. Он хотел тотчас лететь обратно на родину, чтобы избавить свою Настю от когтей иноплеменного суженого, или лечь вместе с нею под земляную крышу, его насилу уговорили дождаться зари, и теперь сонным мечтам его рисовалась то она в брачном венце, томная, бледная, об руку с немилым, на лице ее читал он, что жизни в ней оста-

лось лишь на несколько вздохов, то видел он ее лежащею в гробу со сложенными крест-накрест руками, окутанную в белый саван. Он не узнавал ее; орбиты высохших от слез глаз впали так глубоко, страшно; розовые ногти на руках и малиновые уста ее посинели. Холодный пот обливал его снаружи, внутри же он чувствовал жгучую боль и то стонал, то яростно скрежетал зубами и вскакивал вприсонках.

Павел крался, подползая к Чурчиле как червь; нож его блеснул во мраке, взвился с рукою над головой жениха его сестры и уже готов был опуститься прямо над горлом несчастного, как вдруг Чурчило, под влиянием тяжелых сновидений, приподнялся и попал бы прямо на нож, если бы убийца не испугался и угрожающая рука его не замерла на полувзмахе.

— Измена, — крикнул сторожевой, услышав шорох вскочившего в страхе Павла, и ударил мечом своим плашмя несколько раз по ножнам.

Дружинники, услышав эти звуки, все проснулись и в одно мгновение были на но-

гах, хотя в первые минуты не могли понять причины тревоги.

Сторожевой дружинник в коротких словах рассказал, как он заметил Павла, бежавшего с ножом от Чурчилы. Фигура беглеца, благодаря вышедшей из облаков луны, действительно видна была мелькающей по полю. За ним стремглав бросилась погоня. Павел, перебежав большое пространство, своротил в прибрежные кусты и засел в них.

Ожесточенные дружинники начали шарить в них, ударяя по ним мечами, и жертва, наверное, не ускользнула бы от них, если бы Павел, видя явную опасность, не принял бы меры.

Безвыходное положение, страх всегда рожают внезапно счастливую мысль, или же сковывают человека бездействием.

То же случилось и с Павлом.

Нащупав около себя огромный камень, он скатил его с шумом в реку, а сам притаился ничком в кустах. Вслед за камнем, который дружинники приняли за бросившегося в реку Павла, посыпались стрелы, но прошло несколько мгновений, — волны катились с

прежним однообразным гулом, и дружинники, думая, что Павел с отчаяния и срама, чтобы не попасться в их руки, бросился в реку и утонул, подождали несколько времени, чутко прислушиваясь, и возвратились к товарищам, решив в один голос: «Собаке — собачья смерть!»

Чурчило, убедившись, что поддался хитрому обманщику, решил не возвращаться на родину, а продолжал поход к намеченной ранее дружинниками цели — замку Гельмст.

Под покровом ночи и Павел ползком, после ухода своих преследователей, выбравшись из прибрежных кустов, осторожно прокрался к лесу, по дороге, указанной ему рейтаром Вальдгуса фон-Ферзена.

Он решил тоже направиться в замок Гельмст.

Зачем? — это была тайна его черной души.

Замок Гельмст

Замок Гельмст — цель дальнейшей ратной потехи наших новгородских дружинников, принадлежавший, как мы уже знаем, рыцарю Иоганну Вальдгусу фон-Ферзен и сохранившийся до нашего времени, находится в Лифляндии, у истока реки Торваста, в миле расстояния от Каркильского озера, в котором, по преданию, находится будто бы несколько затонувших зданий.

В описываемое нами время он представлял собою неприступную твердыню. Широкие стены его, поросшие мхом и плюшем, указывали на их незапамятную древность, грозные же в них бойницы и их неприступность, глубина рва, его окружавшего, и огромные дубовые ворота, крепкие, как медь, красноречиво говорили, что он был готов всякую минуту к обороне, необходимой в те беспокойные, опасные времена.

Подъемный мост спускался лишь при звуке трубы подъезжавших путников и снова

поднимался, скрипя своими ржавыми цепями, впус­тив в ворота жданного или нежданного гостя.

Замок Гельмст славился на всю округу гостеприимством своего хозяина. Столы этого редкого среди немцев хлебомола всегда ломились под обильными и изысканными по тому времени яствами и питиями.

Рыцарь Иоганн Вальдгус фон-Ферзен был богат, чем не могли похвастаться остальные его товарищи по оружию, рыцари ордена меченосцев. Это богатство сделало то, что он был избран гроссмейстером ордена, но оно же было причиною потери им этого сана — его обвинили в сношениях с русскими и в принятии от них подарков; было ли это результатом зависти или же имело за собой долю правды — осталось всецело в глубине души фон-Ферзена — души, впрочем, сильно оскорбленной потерей почетного звания. Фон-Ферзен всеми силами старался вернуть его в свой род, и к общей ненависти к русским у этого бывшего гроссмейстера прибавилась ненависть личная.

Он сам в минуты откровенности, после

лишнего стакана вина, хотя и не признавал себя виновным в подкупе со стороны русских варваров, но все же делал кое-какие намеки и не мог удержаться, чтобы не излить на них всю желчь своего развенчанного величия.

— С тех пор, — так обыкновенно он заканчивал свой рассказ о своем падении, — как услышу я слово «русский», какая-то нервная дрожь охватывает меня. С тех пор поклялся я всеми святыми вредить этим заклятым врагам моим, чем только могу, и твердо сдержу свое слово.

Эта ненависть к русским не помешала, впрочем, фон-Ферзену дать прием в своем замке бездомному сиротке-юноше, едва вышедшему из отрочества, русскому по происхождению, но не помнившему ни рода, ни племени, по имени Григорий, искаженному среди немцев в Гритлиха.

Приятели не раз упрекали фон-Ферзена за его пристрастие к этому «русскому щенку» и советовали переслать его на родину, «на стреле», но владелец замка Гельмст настойчиво защищал своего любимца.

— Я так люблю его, — говаривал он, — да

он уже и выродился из всего русского, проживши столько лет у меня. Вы не знаете цены этому малому. Я нашел его полузамерзшим и полунагим на самой русской границе; ему было тогда лет десять от роду; я прирел его, накормил, взял к себе на седло. Как он прижимался ко мне, сердечный, весь дрожа от холода. Я стал расспрашивать его, откуда он. Из его слов я понял, что он бежал от какого-то бунта, что все его родные были перебиты. Куда же было деваться ему, сироте... Я оставил его у себя... Моя дочь была только годом моложе его... Они вместе выросли, играя между собою как родные, и даже зовут друг друга братом и сестрой. Он плел для нее корзинки из ивовых прутьев, ловил птиц силками, лазил по деревьям, как белка, чтобы доставать из гнезд пташек и воспитывать их, как я их воспитывал. Когда же он возмужал, то стал держаться моего стремени — на звериной ловле усмирять диких бегунов и гарцевал на них молодецки. А как он стреляет! Сшибает шапку с головы и волоска не тронет. Но что больше всего меня привязало к нему — это то, что он не корыстолюбив: с сво-

ими не воюет, а когда других задевали мы, он не пользовался грабежом; а однажды вышиб из седла врага, который уже занес меч над головой моей... Я ему обязан жизнью... да и Эмма моя любит его, как родного брата... Я не могу расстаться с ним.

— Это-то и худо, — пробовали задеть старика фон-Ферзен с этой стороны, — долго ли до победы, надо вовремя разлучить молодых людей.

— Нет, — возразил он, — моя Эмма — эта юная ветвь славного и могущественного рода Ферзенов — никогда не соединит свою судьбу с каким-нибудь подкидышем. О! прежде я изрублю тело его в крупинки.

— Чем дожидаться до этого, не лучше ли теперь принять меры и теперь же отослать его в конюшню и на псарню, самое подходящее место для «русского щенка», — не унимались советчики.

— Это было бы слишком жестоко, особенно без вины, но если я что-либо замечу, то лучше выгоню его из своего замка на все четыре стороны, — возразил фон-Ферзен.

Эти беседы хотя и не имели грустных по-

следствий для Гритлиха, но все же внесли в душу старика Ферзена подозрение и он стал наблюдать за дочерью и приемышем, но не замечал ничего.

Эмма фон-Ферзен и подкидыш Гритлих были еще совершенные дети, несмотря на то, что первой шел девятнадцатый, а второму двадцатый год. Они были совершенно довольны той нежностью чистой дружбы, которая связала их сердца с раннего детства; сердца их бились ровно и спокойно, и на поверхности кристального моря их чистых душ не появлялось даже ни малейшей зыби, этой предвестницы возможной бури.

Среди сокровищ ее отца Эмма фон-Ферзен была самым драгоценным сокровищем, не только в глазах отца, но даже и для постороннего взгляда.

Стройная, гибкая блондинка, с той прирожденной грацией движений, не поддающейся искусству, которая составляет удел далеко не многих представительниц прекрасного пола, с большими голубыми, глубокими, как лазуревое небо, глазами, блестящими, как капли утренней росы, с правильными черта-

ми миловидного личика, дышащими той детской наивностью, которая составляет лучшее украшение девушки-ребенка, она была кумиром своего отца и заставляла сильно биться сердца близких к ее отцу рыцарей, молодых и старых. Друг ее детства, Григорий или Гритлих, с летами из тщедушного мальчика обратился в стройного юношу, полного сил и здоровья, добытого физическими упражнениями и суровой жизнью среди суровых рыцарей. С самых юных нежных лет на охотах, этих первообразах войны, привык он смело глядеть в глаза опасностям, а с течением времени — пренебрегать ими. Высокий ростом, с задумчивым, красивым, полным энергии лицом, матовая белизна которого оттенялась девственным пухом маленьких усиков, с темно-русыми волосами и карими глазами, порой блиставшими каким-то стальным блеском, доказывавшим, что в этом молодом теле таится твердый характер мужа.

Таков был молодой новгородец, волею судеб нашедший себе второе отечество в Ливонии и вторую семью в лице старика фон-Ферзсна и его дочери.

Чтобы закончить описание обитателей замка Гельмст, нам необходимо нарисовать, хотя в нескольких штрихах, портрет самого владельца замка, рыцаря Иоганна Вальдгуса фон-Ферзен. Это был высокий, худой старик, лет за шестьдесят, с открытым добродушным лицом, совершенно не гармонировавшим с несколькими рубцами рассеченных ран, говорившими о военном ремесле рыцаря. Посвятив свою раннюю юность подвигам на пользу ордена меченосцев, он поздно встретил подругу жизни и недолго пользовался ее ласками. Молодая, хрупкая, Матильда фон-Эйхшедт, ставшая Матильдой фон-Ферзен, прожила с мужем с небольшим год и умерла в родах, подарив ему дочку — живой портрет матери. Пораженный неожиданным горем, Иоганн фон-Ферзен перенес всю нежность своего поздно проснувшегося сердца на этого ребенка и от трудов войны отдыхал сперва около ее колыбели, а затем около ее девичьей постельки, благословляя ее на сон грядущий, сон чистоты и невинности. Ее детский лепет, ее улыбка, ее игры, забавы и даже шалости были тем живительным бальзамом, который

привязывал к жизни старого рыцаря, давал этой жизни цель и значение, но, вместе с тем, не допускал жестокому ремеслу сделать его кровожадным и бессердечным, подобно многим из его сотоварищей.

И не на одного отца своего производила Эмма фон-Ферзен такое чарующее впечатление; вся прислуга замка, все рейтары ее отца боготворили ее, их угрюмые, суровые лица расплывались при встрече с нею в довольную улыбку, ее ласковый взгляд был для всех их дороже неприятельской богатой добычи. Казалось, самые поросшие мохом каменные громады замковых стен становились менее мрачными, когда Эмма фон-Ферзен проходила мимо них. Был только один человек среди служителей замка, который не только не улыбался при встрече с общим кумиром, Эммою, но, видимо, избегал подобной встречи. Это был старый привратник Гримм. На него эта златокудрая ангелоподобная девушка производила действие проснувшейся совести.

VI

Весть о русских

Скорее деньги Иоганна фон-Ферзен, чем еще столько расцветшая красота его дочери Эммы за несколько лет до того времени, к которому относится наш рассказ, сильно затронули сердце соседа и приятеля ее отца, рыцаря Эдуарда фон-Доннершварца, владельца замка Вальден, человека хотя и молодого еще, но с отталкивающими чертами опухшего от пьянства лица и торчащими в разные стороны рыжими щетинистыми усами. Только общее пристрастие к флягам, в содержимом которых и сам фон-Ферзен любил подчас топить скуку своего одиночества, да искусная игра Доннершварца на пикентафль[59] могли объяснить близость между этими двумя рыцарями, нравственные качества которых были более чем противоположны.

— Я привык к нему, как к моему колпаку, да, кроме того, он мне полезен, как мой кот; тот очищает мой погреб от крыс и мышей, а этот — от бутылок и бочонков; за это я люблю

его.

Старик не стеснялся выражать свое мнение и в присутствии своего частого гостя, но тот, ввиду намеченной им цели, да и по врожденной трусости, пропускал все это мимо ушей и не обижался.

Он и сам не рассчитывал получить согласие отца на брак, а потому принял свои меры на случай, если придется похитить обладательницу богатого приданого.

Последнее для него было очень важно — Доннершварц был беден.

Чтобы иметь среди прислуги фон-Ферзена своего человека, он пристроил одного из своих рейтаров, Гримма, в привратники в замок, обещав ему хорошую награду, если при его содействии брак его с Эммой фон-Ферзен состоится, будь это с согласия отца или насильственным увозом.

Привратник Гримм на своей особе всецело оправдывал французскую пословицу «Каков господин, таков и слуга», — он был кривой старик, с плутоватой физиономией, большим, почти беззубым, ртом и вечно злым и угрюмым видом; красный нос его красноречиво

свидетельствовал, что он не менее своего господина был поклонником бога Бахуса. Он стоял на службе еще у отца Эдуарда, но далеко не жаловал сына — этого пьяницу и обжору, как, конечно за глаза, он честил бывшего своего господина, а потому с удовольствием перешел на службу в замок Гельмст, где все дышало довольством и богатством, тогда как в замке Вальден приходилось часто класть зубы на полку вместе с своим господином с той разницей, что последний раньше уже пристроился к хлебосолу фон-Фер-зену.

Обещанная богатая награда тоже соблазнила старика Гримма, но за последнее время на него начало находить смятение, так как он все еще не получал задатка, который посулил ему Доннершварц.

— И вправду, что же ждать от разбойника? — ворчал Гримм про себя в минуту раздумья. — Что нагабит, тем и богат, а ведь часто волк платится и своей шкурой. Разве — женитьба? Да где ему! Роберт Бернгард посмысленнее, да и помолодцеватей его, да и у него что-то не вдруг ладится... А за моего она ни за что не пойдет, даром что кротка, как овечка, а

силком тащить ее из замка прямо в когти к коршуну — у меня, кажись, и руки не поднимутся на такое дело... Дьявол попутал меня взяться за него...

Этим и объяснялось смущение Гримма при случайных встречах с молодой девушкой, в которой он видел обреченную жертву его гнусных интересов, гнусных до того, что он мысленно отрекся от них, подавляя в себе даже порой соблазн корысти.

Роберт Бернгард, о котором упоминал в своих рассуждениях Гримм, был более открытым претендентом на руку Эммы фон-Ферзен. Красивый молодой человек, отважный, храбрый, с честной, откровенной душой, он был любимцем Иоганна фон-Ферзен, и старик часто задумывался о возможности породниться с ним, отдав ему свое сокровище — Эмму.

«Но она еще ребенок... о чем это я думаю?» — ревниво отгонял он от себя все же тяжелую для него мысль о разлуке с любимой дочерью.

Таковы были взаимные отношения обитателей замка Гельмст с их близкими соседями в то время, когда до этой твердыни дошел

слух о появлении неподалеку русских дружинников.

Мы застаем Иоганна фон-Ферзен и Эдуарда фон-Доннершварц в длинной готической, со сводами, столовой замка, за обильным завтраком, которому они оба делали достодожную честь.

— Стремянной мой Вольфган, — говорил фон-Ферзен, — прослышал, что где-то недалеко бродит шайка русских, но небольшая... Давненько их не было видно у нас...

— Ничего, мы затравим их собаками и застегаем плетьюми! — хвастливо воскликнул фон-Доннершварц.

— Это несомненно, — подтвердил хозяин, — но мне пришло на мысль не только пугнуть пришельцев, но и самим прогуляться в Пермь, или в Псков, или хоть под самый Новгород... Там будет чем поживиться... Есть слух, что он опять бунтует... Это будет кстати, там все заняты, чай, своим делом, обороняться будет некому. Не правда ли?..

Гость утвердительно кивнул головой.

— На все необходимы не только отвага, но и ум... Об этом-то я и хотел посоветоваться с

тобою и еще кой с кем и послал герольдов собрать на совет всех соседей... Один из моих рейтаров попался в лапы русских и лишь хитростью спасся и пришел ползком в замок... Он говорит, что они уже близко... Надо нам тоже готовиться к встрече. Полно нам травить, пора палить! А? Какова мысль! Даром, что в старом парнике созрела.

— Черт возьми, превосходная. У меня так и запрыгало сердце от радости, что наконец придется потешить копыя! — воскликнул фон-Доннершварц.

— Зубы не зацелкали от страха? — усмеялся фон-Ферзен.

Гость сделал вид, что не слышал этого замечания, и продолжал:

— И мне пришла в голову мысль.

— Какая? Взять с собой ящик вина?

— Нет, а вот что это, верно, ваш Гритлих снюхался с бродягами русскими и подманил их... Примите-ка скорей меры, велите сейчас позвать его, я из него все выпытаю, да прикажите осмотреть замок и приготовиться к обороне.

Эдуард фон-Доннершварц от глубины ду-

ши ненавидел Гритлиха и всеми силами старался восстановить против него фон-Ферзена.

— Нет, братец, не теперь! Гритлих теперь еще на охоте. Да и что тебе дался этот Гритлих? Даже хмель спадает с тебя, как только ты заговоришь о нем. Я давно замечаю, что ты ненавидишь сироту, и, конечно, особенно с тех пор, как он перебил у тебя славу на охоте. Помнишь белого медведя, от которого ты хотел уйти ползком?

Доннершварц вспыхнул. Этой историей его дразнили уже давно.

— Сами вы белый медведь! — крикнул он, вскочив со скамьи. — На другого бы я пожаловался своему мечу, который сорвал бы его седую голову, но на вас... Смотрите, я не всегда терпелив.

Фон-Ферзен захохотал.

— А что, видно, за живое задело, господин рыцарь белого медведя?.. Ты, верно, и от него хотел уйти, чтобы пожаловаться своему мечу, так как вместо него у тебя на боку торчала колбаса, а через плечо висела фляга. Я, признаюсь, сам этого не видел, но мне рассказывал Бернгард.

— Бернгард!.. Вот еще кого вы выбрали в свидетели!.. Он не лучше вашего Гритлиха... Если он осмелится это сказать при мне, я тотчас же брошу ему вызывную перчатку... несмотря на то, что ваша Эммхен умильно поглядывает на него...

— Смотри, Эдуард, бросишь и не разделаешься; Роберт сам горяч...

— Хоть бы он был горячее огня... Шутки в сторону, зачем вы принимаете еще этого шелкового рыцаря, у которого все достояние снаружи, а в кармане засуха?

— Да ведь и твой карман не жирен, не хвастайся, брат. Карман Бернгарда еще тем превосходит твой, что отворен настежь для всех. Но чего же ты нахохлился, что тебе не по нраву? Полно, Доннершварц, я знаю, что ты любишь меня и ревнуешь старика ко всем. Не бойся, я умею это ценить. Вот тебе моя рука, я хоть и люблю Роберта, этого благородного рыцаря, но будь уверен, что и ты мне также дорог...

Доннершварц почтительно схватил руку фон-Ферзена и патетически произнес:

— Вы увидите при первом случае, когда

вам понадобится моя рука, кто из ваших приверженцев более всех вам принесет пользы. Довольно говорить, время докажет.

— Поговорим-ка лучше о русских, — снова перебил его фон-Ферзен. — Как ловко они подкараулили моего рейтара. С каким наслаждением я сделал бы из них бифштексов. Да, — продолжал он задумчиво, — их рысьи глаза никого не просмотрят, теперь, того и гляди, наскочут они на мой замок.

— Не бойтесь, Ферзен, к нему пойдет дорога только через мой труп, но необходимо поговорить о деле.

— Да этим и кончить. Только говорить о деле — теперь мало. Я послал отряд своих рейтаров собрать вассалов и приглашать соседей. Кто меня любит, тот, верно, приедет первый.

— Это я, — всегда с вами, как тень ваша... Но все же я возвращусь к Гритлиху. Его необходимо выслать из замка, или же вы будете дожидаться, чтобы за ним пришли земляки с дубинами и кистенями?

— Хорошо, хорошо. Скажи ему, когда он вернется, за меня, что знаешь, и дай ему де-

нег на дорогу из моего...

— Я ему не дам старого гвоздя из подковы лошади... Ему за вас подарит охотно фрейлейн Эмма дорогое кольцо, да пожалуй, с пальчиком... О, черт возьми, не могу перенести, что золото и ржавчину вы держите вместе.

— Ну, цыц, опять за свое! — прикрикнул на него сердито фон-Ферзен.

Доннершварц замолк.

Послышался шорох легкой походки, и юная Эмма резво впорхнула в комнату. При ее входе лицо ее отца прояснилось, брови раздвинулись и глаза засияли добрым блеском. Так солнце, вспыхнув на небе, озаряет своим блеском черную пучину и ярко раззолачивает ее своими лучами.

VII

Два соперника

— Эммхен, моя милая Эммхен! — воскликнул радостно старик фон-Ферзен. — Наконец-то ты навестила отца!

Он открыл ей свои широкие объятия и обнял своими могучими руками ее гибкий стан.

— Здравствуйте, папахен! — нежно сказала Эмма и сделала книксен Доннершварцу, глядевшему на нее плотоядным взглядом и расшаркавшемуся перед ней, неистово гремя шпорами.

— Посмотрите, папахен, — радостно продолжала она, садясь к нему на колени и показывая маленький костяной лук с серебряною стрелою, — это подарил мне мой братец Гритлих, чтобы стрелять птичек, которые оклевывают мою любимую вишню. Он учил меня как действовать им, но мне жаль убивать их. Они так мило щебечут и трепещут крылышками и у них такие маленькие носики, что едва ли они могут много склевать... Пусть их тешатся, и им ведь хочется есть, бедняжкам...

— О, моя прелесть, — заметил отец, любуясь дочерью и трепля ее по розовой щечке.

— Да что это, милый папахен, нас совсем забыл молодой Бернгард? Он обещал мне привезти бусы.

Фон-Ферзен обернулся к Доннершварцу, с открытым ртом неотрывно смотревшему на молодую девушку и насупившемуся при имени Бернгарда.

— Ты что замолк? Куда девалась твоя храбрость? Или струсил девочки? Глядит на нее, как собака на дичь.

Старик раскатисто захохотал.

Доннершварц очнулся от немого созерцания.

— А я хочу подарить фрейлейн Эмме ожерелье из львиных зубов — большая редкость в нашей стороне. А стрел таких и луков я и не имею. Есть у меня лук...

Он не успел кончить своей речи, как на дворе послышался конский топот.

Фон-Ферзен ссадил Эмму с колен и скорыми шагами подошел к окну.

— Мелькнуло чье-то белое перо, — сказал он. — Но что это значит? Ни трубач, ни кто

другой не дает знать о прибывшем. Верно, кто-нибудь из наших.

— Белое перо? Ах, папахен, это мой любимый цвет! Верно, это...

Ее голубые глазки заискрились, как незабудки.

Статный рыцарь, с длинными белыми перьями на шлеме, в щегольском вооружении того времени, быстро вошел в комнату и не дал договорить Эмме свое имя.

Его гладко выполированные латы сверкали под шелковой белой перевязью, охватывающею его стан; лосиные, до локтей, с раструбами перчатки и коротенький меч в хитрочеканенных и позолоченных ножнах придавали ему вид щеголя.

Он почтительно раскланялся с фон-Ферзенем и приветливо с фон-Доннершварцом и, видимо, с особенным чувством с Эммою, затем поднял забрало своего шлема, ловко снял его и черные кудри рассыпались по его плечам.

— Узнали, узнали! Роберт! А мы тебя ожидали и недавно еще говорили о тебе, — сказал фон-Ферзен, протягивая ему руку.

— Мне остается только благодарить вас.

— И я говорила о вас, Роберт, — вставила свое слово молодая девушка. — Я удивилась, что вы совсем забыли нас. Неужели вам приятнее гоняться по лесам за страшными дикими зверями?

— Чем за девчонками, — захохотал фон-Ферзен и сильно закашлялся. — Накажи его, Эммхен, за эту забывчивость, в пример другим.

— О, сейчас! — воскликнула она, выпорхнула из комнаты и через минуту возвратилась, держа в руках белую ленту.

— Вашу руку, Роберт! — с напускною серьезностью, но с ангельскою улыбкою сказала она.

— Хоть жизнь, — отвечал рыцарь, протягивая ей руку, — но помните, что только одна ваша безопасность, которую я оберегаю, как свою честь, вынудили меня — не забыть о вас, о нет, а лишь не видеть несколько дней, и этим я сам жестоко наказал себя, так что наказание ваше, какое бы ни было, будет для меня наградою.

— Хорошо, хорошо, что там не говорите,

как не извиняйтесь, а я свое дело сделаю, — продолжала Эмма, привязывая его за руку к своему столу.

— Браво, браво, Эммхен! Да покрепче, несмотря на то, что он так кудряво рассыпается. Нет, господа рыцари, вам уж нынче девушки не верят ни на золотник.

Эмма с неподдельным старанием крепко привязывала своего пленника, смотревшего на нее глазами, полными любви и восторга.

— Лентой, фрейлейн Эмма, а как крепко привязали вы меня к себе. Теперь прошу у вас одной милости за раскаяние — не отвязывайте меня.

— И стерегите сами неотступно своего пленника. Не так ли? — спросил со смехом фон-Ферзен. — О, я знаю, — продолжал он, — пленник тогда не только не уйдет, но и не тронется с места, как пригвожденный.

Фон-Доннершварц, ревнивым взглядом созерцая всю эту сцену, наконец не вытерпел:

— Нет, черт возьми! Вы все не правы. Ну, что это за наказание? Оно придает ему лишь желание еще раз провиниться, а по-моему — отослать его к конюху и познакомить спину

его с кнутом, а потом посмотреть: будет ли он таким приверженцем вашего дома, как говорит. Поверьте, это лучшая проба.

Выпалив эту тираду, Доннершварц глупо и самодовольно улыбнулся.

Бернгард вспыхнул, но, подавив гнев свой, с презрением взглянул на него.

— Кнут конюха пришелся бы как раз по вашей широкой спине, рыцарь! Вы, вероятно, метили в себя и лишь ошибкой попали в другого.

— Я никогда не промахиваюсь и называюсь рыцарем гораздо прежде чем вы, а потому, кто в этом сомневается, я могу доказать на деле. На бойне молотом, а не в кругу благородных рыцарей.

— Черт возьми, смотри, чтобы меч мой не вырвал с корнем дерзкий язык твой...

— Прежде я заклею тебе на лбу или на крючковатом носу твоим именем подлеца и разбойника, чтобы рука искренних рыцарей не осквернилась твоей кровью.

Доннершварц задрожал от злобы и бросил железную вызывную перчатку к ногам Роберта.

Эмма задрожала от страха и побледнела.

— Вы перешли границы, — вступился фон-Ферзен. — Хотя я и сам люблю, кто меняет жизнь на честь, но властью хозяина попрошу вас теперь прекратить эту сцену... Видит Бог, это в наше время не бывало...

— Хорошо, я еще увижусь с ним и мы расквитаемся! — проворчал Доннершварц, сверкая глазами.

— Простите меня, фон-Ферзен, и вы, фрейлейн Эмма, — начал Бернгард. — Я так разгорячился, но, поверьте, драться бы не стал, иначе я рискнул бы получить вызов от всех благородных рыцарей за унижение нашего ордена — ломать копыя с каким-нибудь мясником! Если он хочет, мой оруженосец накажет его вместо меня.

— Разведите нас... я не оглох, чтобы... чтобы... — повторил Доннершварц и вдруг громко чихнул и замолк.

Эмма между тем, по знаку отца, освободила Бернгарда и, все еще не оправившись от испуга, печально отошла к окну.

Роберт был смущен, любовь, ненависть, презрение попеременно волновали его душу.

Он молча стал ходить по комнате, как бы собираясь с мыслями. Фон-Доннершварц исподлобья поглядывал то на него, то на Эмму.

Ферзен что-то чертил мелом по столу.

Наступило общее молчание. Его прервал хозяин.

— Что, любезный Роберт, нет ли чего нового?.. Знаешь ли ты цель моего вызова рыцарей?

— Я узнал ее от вашего герольда... и поспешил.

— Благодарю... Да, русским духом запахло... Знать, у меня, старика, злейшие и исконнейшие враги мои хотят вырвать последнюю искру жизни.

— Зачем печальные мысли? Мы защита нашему замку, только послушайте любви нашей, остерегайтесь... Расставьте всех рейтаров в окруженных лесах и на дорогах и приготовьте отпор. Мои вассалы теперь уже галопом несутся сюда.

— Черт возьми, — прервал его Доннершварц, — не дождаться ли нам, пока замок займут толпы бродяг. Кто боится измять свои латы и истоптать серебряные подковы у ло-

шадя, того мы защитим встречей нашей с незванными гостями, но добычей не поделимся с ним. Так мы условились с фон-Ферзен и, черт возьми, кто помешает нам своими ребяческими советами исполнить прямое рыцарское дело!

— Где тебе думать о прямизне, когда ты все качаешься! Не на словах показывают себя, господин бутылный рыцарь, а на деле, с оружием, а оно у тебя все заржавело, — заметил Бернгард.

Доннершварц только что хотел ответить, как вдруг Эмма, стоявшая у окна, дико вскрикнула.

Все бросились к ней и стали расспрашивать ее о причине испуга.

Эмма не могла ответить, только показывала в окошко.

Все взглянули по этому направлению и увидели статного юношу, которого несла по двору бешеная лошадь. Он сидел прямо и, казалось, спокойно, натянув на руки удила туго, как струны, и крепко обхватив бока сильного животного ногами. Несмотря на это, лошадь закусил удила, то расстилалась под ним на

бегу, то вдруг останавливалась, или сворачивала в сторону, или вихрем взвивалась на дыбы, стараясь сбросить с себя всадника.

Но последний был как будто бы слит с нею из одного вещества и, взмахивая сильной рукой, поминутно стегал ее по голове нагайкой.

— Это мой Гритлих объезжает дикую лошадь, которую мне прислали недавно из Нотебурга[60]. Четыре сильные конюха насилу довели ее, а он один управляется с нею. Bravo... Bravo...

Фон-Ферзен глядел в окно и хлопал в ладоши.

— Черт возьми! Удал же управляться с лошадьми, — проворчал Доннершварц.

— Молодец, точно привинчен к седлу! — с неподдельным восторгом воскликнул Бернгард. — Точно рыцарь! Он достоин им быть.

Он впился глазами в всадника и следил за каждым его движением.

Эмма между тем схватила за руку отца своего и еще громче вскрикнула, когда лошадь, вытянув шею, взвилась на дыбы и чуть не опрокинулась назад вместе с всадником.

Молодая девушка, видимо, не могла выно-

сидеть далее этого зрелища и, быстро отскочив от окна, стремглав бросилась из комнаты.

Мужчины в недоумении переглянулись между собою.

VIII

Гритлих

Гритлих между тем, оправясь от стремительного прыжка лошади, закричал Гримму, чтобы он отпер поскорей задние ворота, и когда последний боязливо, но с коварной улыбкой исполнил его желание, он собрал все силы, направил лошадь прямо в ворота, выскочил в поле и вмиг исчез из виду, как дым, разнесенный порывом ветра.

Доннершварц наклонился к фон-Ферзену.

— Видите ли вы, что Гритлих не ваш пленник, а вашей дочери? Видите ли, что я прав, — чтобы его разнесла лошадь по кустам, а вы нет, потакая бродягам?

— Да отстань, знаю, вижу... и сегодня все решу! — отвечал вслух фон-Ферзен.

Эмма вбежала опять. Ее кудри были беспорядочно разбросаны по бледному лицу.

— Папахен! Она умчала его, — воскликнула она, бросаясь на шею отца, — а кругом замка ров с водою, мост не поднят. Бедный Гритлих.

Она зарыдала.

— Что ты, что ты, резвая моя козочка? Успокойся! — увещевал ее отец.

Но Эмма только дико взглянула на него, как бы к чему-то прислушиваясь.

В это время загремели перекладины подъемного моста, она встрепенулась и с силою рванулась из рук отца, несмотря на то, что он так сжал ее руку, что помял на ней золотую браслетку; и выскочила из комнаты.

— Послать за ним, за ней!.. Побежим на подзорную башню взглянуть с нее на удалца, — заговорили присутствующие.

Вошедший герольд остановил их намерение.

— А, Штейн! — воскликнул фон-Ферзен. — Ну, что скажешь?

— Русские подвигаются все ближе и ближе, благородный господин. Они теперь находятся только на день езды отсюда. Их провожает дым пожарищ.

— Как, ужели никто из наших соседей не дал им еще достодожного отпора? Где же они рыскают или спят, непробудные винные исчадия? — быстро и гневно спросил Бернгард.

— Я видел их, благородный рыцарь, на перелет стрелы от нашего замка. Они сели завтракать. Их много, и они вооружены крепко.

— Что же медлят они? — закричал фон-Ферзен, топнув ногою. — Русские жгут земли наши, а они пьют.

— Как и мы! — вставил Доннершварц, глухо ухмыляясь.

Бернгард пожал плечами.

— Нет, видит Бог, этого в наше время не бывало! Вот распоряжения нынешнего гросс-мейстера! Вот храбрость нынешних рыцарей! Свидетель Бог, не так было в наше время, — продолжал фон-Ферзен.

— Не всех обижайте!.. Мой меч свернет также головы, — заговорил было Доннершварц.

— Всем бутылкам моим, — отвечал фон-Ферзен. — Что же ты ожидаешь и не едешь отыскивать наших шатунов? Или боишься

встречи русских и их угощения?

Доннершварц тупо глядел на него и не находил ответа, а Бернгард заметил оскорбленным тоном:

— Фон-Ферзен, порукою ничем незапятнанная честь моя, мы не выдадим вас врагам. Если вы сомневаетесь, да судит вас совесть ваша.

— Да, да, смейтесь, сколько хотите, — заговорил Доннершварц, — пусть я пролью за вас не кровь, а вино, но... но...

Он не сумел договорить.

— Простите меня, — сказал старик, — я по горячности вас обидел...

В комнату снова вбежала Эмма и радостно воскликнула:

— Едет, едет!.. Мой Гритлих цел и невредим... Он справился с лошадью... посмотрите.

Она указала в окно на лошадь, покрытую пеною и возвращающуюся домой с повисшими ушами.

Фон-Ферзен прервал свою дочь:

— Вот кстати. Вот кто загладит обиду мою! — заговорил он, указывая на дочь. — Рыцари, дети благородной стали! Вот вам награ-

да. Кто более скосит русских голов с их богатырских плеч, тот наследует титул мой, замки и все владения мои и получит Эмму.

— О, для таких наград я не пожалею руки своей! — воскликнул Доннершварц.

— Последнее обещание, — заметил Бернгард, — лучший перл из всех сокровищ ваших. Я не хвалюсь, но для нее умру хотя тысячу раз ужасными смертями.

Он нежно взглянул на Эмму.

Ее щеки то покрывались ярким румянцем при взгляде на красивого Бернгарда, то смертельной бледностью, когда взор ее падал на неуклюжего Доннершварца. Она робко прижалась к отцу и сердце ее билось, как птичка, попавшаяся в силочку.

Наконец она выбрала минуту и быстро вышла из комнаты.

— Итак, господа, мое слово свято, зарабатывайте обещанную награду!

— Она будет моей! — прорычал Доннершварц.

Бернгард не успел выразить в свою очередь надежду, как в комнату быстро вошел Гритлих в венгерском коротком костюме, об-

шитом шнурами. На ногах его были надеты зеленые сафьяновые полусапожки с красными отворотами и серебряными нашивками, на боку мотался охотничий ножик, на черенке которого была золотая насечка, в одной руке его была короткая нагайка, а в другой шапка с куньей оторочкой и мерлушьим исподом.

Он учтиво поклонился гостям и особенно почтительно фон-Ферзену.

— Браво, Гритлих, — воскликнул фон-Ферзен, — мы видели твою удадь. Ты достоин того, чтобы тебе носить шпоры.

Доннершварц не дал фон-Ферзену договорить, оттащил его в сторону и стал что-то нашептывать.

Бернгард дружески пожал руку Гритлиха и стал выхвалять его искусство, на что тот вежливо откланивался.

Вдруг фон-Ферзен жестом руки подозвал к себе юношу, пристально взглянул на него, погладил свою бороду и с усилием сказал:

— Гритлих, скоро у нас будет резня с земляками твоими.

— Очень сожалею, благородный господин

мой, что соседи не живут мирно между собою, — отвечал он выразительно.

Фон-Ферзен замолчал, видимо, не находя слов, но Доннершварц продолжал за него:

— Ты русский, следовательно должен убраться отсюда.

Гритлих с презрением взглянул на него, но не ответил ни слова.

— Слышишь ли, — продолжал Доннершварц, — господин твой приказывает тебе поскорей убраться из замка, пока рыцари не выбросили тебя из окна на копья.

— Как, разве вы нанялись говорить за него?.. В таком случае, я останусь глух и подожду, что скажет мне благородный господин мой, — твердым, ровным голосом отвечал Гритлих.

— К несчастью, это правда, — с дрожью в голосе произнес фон-Ферзен, — я люблю тебя, Гритлих, и ни за что бы не расстался с тобою, но все рыцари, защитники и союзники мои, требуют этого... Я отпускаю тебя.

Несчастный юноша низко опустил голову и стоял, как пораженный громом.

Все молчали.

— Ужели ты не любишь своей родины, так что возвращение в нее печалит тебя? — спросил после некоторой паузы фон-Ферзен.

— Родины! — с жаром воскликнул юноша. — Хотя я мало знаю ее и воспитан вами, но отдам за нее кровь мою. Я сильно привык к Ливонии и забыл мою родину, и за это Бог карает преступника.

Он остановился, но через минуту начал сквозь слезы:

— Нет, я прав, она отвергла меня: родители мои убиты палачами, которых я должен называть своими земляками, мы с нею квиты. Теперь для меня все равно: смерть для всех стелет одинаковую постель, хотя и в разной земле.

Он бросился в ноги фон-Ферзену и обнял его колени и стал умолять его не отпускать от себя.

Старик совершенно смутился, поднял юношу и не знал, что сказать.

Бернгард подошел к ним:

— Фон-Ферзен! Я беру его к себе. Где же сироте безродному скитаться теперь по обнаженным полям нашим? Пойдем, Гритлих, не

унижайся, ты не того стоишь.

— Стой, стой, одно условие, — прервал его фон-Ферзен, обращаясь к Гритлиху, — останься с нами. Я разрешаю тебе это, поклянись клятвой рыцаря, что исполнишь наше желание. Поклянись на мече.

Старик обнажил меч и протянул его лезвием к юноше.

Гритлих положил руку свою на обнаженный меч и приготовился повторить слова требуемой от него клятвы.

— Клянись же, что ты отрекаешься от русского имени и будешь воевать с нами под нашими знаменами, которые разовьют над нами поголовную смерть, — начал торжественно старый рыцарь.

Пораженный Гритлих горько улыбнулся и снял свою руку с меча. Затем, гордо покачав головою, тряхнул своими кудрями и, не ответив ничего, пошел твердыми шагами из комнаты.

Вдруг он остановился и обернулся.

Фон-Ферзен догадался для чего и открыл ему свои объятия.

Неутешный юноша бросился в них со сло-

вами:

— Простите! Это уж слишком, благородный господин! — говорил он со слезами в голосе. — Я не могу совсем переродиться в ливонца, Русь мне родина — я сын ее, и будь проклят тот небом и землею, кто решится изменить ей. Небесное же проклятие не смоешь ни слезами, ни кровью.

— Милое дитя мое, Гритлих! Видит Бог, я не забуду тебя. После возвратись опять ко мне! — растроганным голосом заговорил фон-Ферзен и опустил в руку юноши кошелек, полный золотом.

Почувствовав эту подачку, Гритлих быстро отошел от старика, вытряхнул из кошелька золото, а самый кошелек положил за пазуху и быстро направился к двери, но здесь встретил его Доннершварц и загородил путь.

— Остановись! Дай обещание, что ты не наведешь на нас русских, не укажешь им ближней дороги к замку, или я сделаю так, что ты не ногами, а кувыркком дойдешь до них.

— Этого еще недоставало, оскорблять меня таким гнусным, низким подозрением! — вос-

кликнул юноша, и не успел Бернгард и фон-Ферзен кинуться к нему на помощь, как он ловким движением выбил щит у Доннершварца и, схватив его за наличник шлема, перевернул последний на затылок, а затем быстро вышел из комнаты.

Меч, брошенный наугад ослепленным Доннершварцем, не попал в ловкого юношу, а впился в стену и задрожал.

IX

Свидание

В роскошном, но запущенном парке фон-Ферзена, опершись на дорожный суковатый посох, стоял Гритлих.

Поздний вечер уже спускался на землю, и яркие краски багрово закатывающегося на запад солнца гасли мало-помалу. На небе медленно выплывал месяц, ныряя в облаках.

Юноша продолжал стоять неподвижно на одном месте и даже не замечал, как вокруг него все более и более сгущался ночной сумрак, как шумели в пустынном парке пожелтевшие деревья, колеблемые резким осенним

ветром.

Он не отводил взгляда своего от замка, на- веки прощаясь с этой второй своей родиной.

Почти все окна замка горели огнями, из них слышался какой-то гул, звон посуды и го- вор. Фон-Ферзен встречал все новых и новых гостей, рыцарей — своих союзников. Печаль- ный юноша поднял взор свой к одному из верхних окон, задернутых двумя сборчатыми полосами занавесок, за которыми, как ему ка- залось, промелькнула знакомая ему фигура.

На дворе замка раздался заунывный коло- кол. Это был сигнал, поданный привратнику, что настало время запирать ворота и опу- скать подъемный мост. Цепи его загрохотали, на шпице башни заблестел фонарь, и все умолкло, только откуда-то раздавался вой со- бак, да ржали рыцарские кони, дрогнувшие от холода на привязи у столбов.

— Пора! — сказал самому себе Гритлих, но вдруг стал внимательно прислушиваться.

Мимо забора, за которым он стоял, кто-то как будто крался, один навстречу другому. Скоро он различил и узнал их голоса.

— Черт возьми, — заговорил один из крав-

шихся, фон-Доннершварц, — как темно и жутко бродить по здешним ущельям. Ты ли это, Гримм? Ну, кривой сыч, говори, что нового?

— Тс! Тише, — отвечал голос Гримма, — не шумите по двум причинам: во-первых, нас могут подслушать, а во-вторых, вы можете разбудить того удавленника, который завален вон тем камнем у красного колодца. Видите ли, что-то белеется. А дело наше приходит к концу. К вечеру, послезавтра, приготовьте рейтаров наших у западной башни, а до того расположите их в Черной лощине.

— Черт возьми! Уж я это слышал. Что же дальше?

— Поперхнись ты сам нечистым, — проворчал Гримм, — я вытащу фрейлейн Эмму, — продолжал он громче, — по лестнице, которую приставлю к ее окошку, завяжу ей рот и передам вам с рук в руки.

— Прекрасно! — заметил фон-Доннершварц. — То-то я насмеюсь над глупым стариком, жеманной его дочерью и над этим жиденьким хвастуном Бернгардом.

— Ради Бога, тише, благородный рыцарь! Я сам, признаюсь вам, ненавижу их всех от ду-

ши, с тех пор, как отставной наш грессмейстер обошел меня и сделал кастеляном замка мальчишку Штейна, своего стремянного, но, право, боюсь, подслушают нас и вздернут нас с вами на первую осину, обновив чьи-нибудь кушаки на наших шеях, — говорил Гримм, робко озираясь.

— Как? Меня? Рыцаря, носящего шпоры и меч, повесят на веревке, как бадью на лист, и оставят болтаться ногами и головою между землею и небом! Что ты! Образумься, старый Гримм.

— С тех пор, как вы захлебнулись было шлемом своим от рук Гритлиха, наш-то смотрит на вас не совсем милостиво и доверчиво.

— Черт возьми! Напомнил еще ты об нем! — закричал Доннершварц во все горло. — Если бы не ускользнул он, я бы вышиб из него душонку.

Зная, чем остановить своего бывшего хозяина, Гримм вдруг притворился испуганным, всплеснул руками и шепотом произнес:

— Посмотрите, камень шевелится, я как будто вижу посинелое лицо мертвеца и закатившиеся полуоткрытые глаза его! Прощайте.

По чести скажу вам: мне не хочется попасть в его костяные объятия, а в особенности он не любит рыцарей. Помните условие, а за Гритлихом послал я смерть неминуемую; его подстерегут на дороге, лозунг наш «форвертс»[61]

Гримм на цыпочках и ощупью стал пробираться домой.

Перепуганный насмерть Доннершварц пустился бежать во всю рыцарскую прыть. Скоро мрак скрыл их обоих от глаз Гритлиха. С другой же стороны замка послышался новый шорох.

Юноша стоял в изумлении как вкопанный.

Он давно замечал тайную связь между коварным Гриммом и самохвалом Доннершварцем, но, зная, что первый был прежде в услужении у второго, не обращал на это внимания. Теперь же счастливый случай помог ему открыть их адские замыслы относительно его и Эммы. Гритлих невольно опустился на колени и, подняв руки и очи к невидимому, но вездесущему Существо, стал горячо молиться. Это была молитва без слов, от полноты охвативших его чувств.

Чистый фимиам души доступен слуху Все-
вышнего.

Молитва облегчила несчастного юношу, с души его скатилась будто тяжелая глыба.

Вдруг перед ним, как из земли, выросла белая фигура.

— Моя Эммхен, сестрица моя дорогая! — с рыданием воскликнул Гритлих.

Уста их слились в долгом поцелуе.

— Что стало с тобою? Ты так печален, как будто недоброе таишь в сердце? — спросила наконец Эмма, играя его кудрями.

— Ты сама не весела! — отвечал он. — Верно, злое предчувствие томит и твою грудь.

— Напротив, смотри: я смеюсь. Право, мне так хорошо теперь.

— А сама плачешь? Я ведь это чувствую: слезы твои на щеках моих.

— Зато на душе у меня легко! С тобой и горевать весело. Ну, поверь же мне, в глазах моих плачет радость. Это наслаждение! Ты зачем мне назначил быть здесь?

— Скажи мне прежде, чему ты радуешься?

— Тому, что ты любишь меня! А знаешь

что, милый Гритлих, отец мой отдаст меня тому рыцарю, который отличится в битве с русскими. Бернгард уверял меня, что я буду его. Как я рада! Он такой милый, добрый.

Гритлих побледнел. Он насилу выговорил дрожащим голосом:

— Как, ты радуешься тому, что будет стоить мне жизни?

— Почему же? Разве... Да... ты русский, я и забыла это. Бесценный мой Гритлих, за что ты любишь отечество больше нас? Ужели ты хочешь сражаться с противниками нашими и убить батюшку и Бернгарда?

— Бернгарда? О! я забыл: ты не любишь меня, Эмма. Прощай же! Теперь я вижу, что я круглый сирота, для всех чужой на белом свете!

— Что ты, Гритлих, да тебя я не променяю ни на что на свете. И ты говоришь, что я не люблю тебя! Что сделалось с тобой? Разве Бернгард помешает нам любить друг друга по-прежнему? Если что случится, я отвергну его.

Так рассуждала чистая невинность.

— Как же ты любишь меня? — спросил

Гритлих, жадно прислушиваясь к звуку ее речей.

— Да как, право, и сказать не умею. Вот отдала бы за тебя все, что имею. Мне так всегда приятно с тобой: не наговорюсь, не насмотрюсь на тебя, все бы любовалась я тобой, гладила бы кудри твои, нежила бы голову твою на груди моей. О! не умирай, Гритлих! Мне будет скучно без тебя, я не перенесу этого. Я люблю тебя ненасытно, как родного моего, как брата, как...

— Только-то! — дико вскрикнул он, услышав последние слова.

Эмма вздрогнула, в ужасе отступила от него и замолчала.

Юноша, преодолев волнение, твердо произнес:

— Эмма, будь счастлива с Бернгардом, он стоит тебя, а обо мне забудь совершенно. Остерегайся разбойника Доннершварца и злого Гримма: они покушаются на тебя.

Он не договорил и опрометью бросился бежать от нее к калитке, выдернул засов и исчез из сада.

Эмма несколько мгновений ошеломлен-

ная стояла на месте и вдруг, как сноп, упала на траву.

Угрюмый и печальный сидел старик фон-Ферзен в комнате Эммы, около постели своей любимой дочери.

Ее нашли без чувств в парке замка, принесли и уложили на кровать.

Около нее хлопотала старая Гертруда — ее бывшая кормилица и затем нянька.

Молодая девушка лежала нема и недвижима, правая рука ее свесилась с кровати: в ней судорожно был зажат какой-то предмет.

Гертруда прыскала на нее свежей водой.

Эмма шевельнулась, рука разжалась и что-то упало на пол.

В эту минуту в комнату вбежал Бернгард. Его черные волосы были в беспорядке и еще более оттеняли мертвенную бледность его лица. Он упал на колени перед постелью любимой девушки и неотводно устремил на нее свой взгляд.

— Гритлих, Гритлих! Ты не понял меня, — прошептала Эмма слабым голосом и, как бы очнувшись, привстала немного, обвела глазами комнату, затем горько улыбнулась, от-

толкнула протянутую руку Бернгарда и снова упала на подушки.

Фон-Ферзен поднял упавший из руки дочери предмет. Это оказалась серебряная раковина. Он открыл ее и нашел русский локон — несомненно, локон Гритлиха.

Бернгард взглянул и вздрогнул.

Завеса пала с глаз его, золотые сны любви рассеялись, как дым, и в этом ужасном пробуждении они оба с Ферзенем поняли, кому отдано было сердце Эммы.

— Где он? Отдайте мне его, — продолжала бредить больная. — Душно, тяжело, темно без него! Где я? Далеко ли он? Увижу ли его? Что это налегло на сердце? Знать, все кончено!

С жгучею, невыразимою сердечною болью прислушивался Бернгард к этому роковому бреду молодой девушки.

Наконец он заговорил:

— Клянусь любовью моей к тебе, Эмма, я догоню его и приведу к тебе, или источу жизнь свою по капле подле тебя, за тебя.

Последние слова он договорил уже за дверью.

Эмма как бы пришла в себя от его слов.

Она взглянула на него так нежно, так выразительно, как бы благословляя его своим взором, и этот взор пролил в его душу еще более отваги и непоколебимости в принятом им решении.

По его уходе Эмма снова закрыла глаза.

— Раздену я ее, благородный господин мой, да спать уложу, к утру все как рукой снимет, опять пташкой по замку заливаться будет, — сказала Гертруда опечаленному, сидевшему с поникшей головой фон-Ферзену.

Он посмотрел в последний раз на свою дочь, встал и медленно вышел из комнаты к гостям, которые продолжали пировать в готической столовой замка Гельмст, заранее торжествуя победу над русскими бродягами. Не рано ли?

Х

В московской думной палате

В то время, когда в замке Гельмст рыцари Ордена меченосцев с часу на час ждали набега новгородских дружинников; в то время, когда в самом Новгороде, как мы уже знаем, происходили смуты и междоусобия по поводу полученного от московского князя неожиданного запроса, а благоразумные мужи Великого Новгорода с трепетом за будущее своей отчизны ждали результата отправленного к великому князю ответа, — посмотрим, что делалось тогда в самой Москве.

Было 30 сентября 1477 года.

Роковая запись новгородская была получена накануне, и великий князь повелел для выслушания ее собраться всем ближним своим боярам в думную палату для окончательного разрешения дела относительно вольной отчины своей — Великого Новгорода.

К назначенному, по обычаю того времени, раннему часу думная палата великокняжеская была полна. Сам великий князь восседал

на стуле из слоновой кости с резною спинкою, покрытом бархатною полостью малинового цвета с золотою бахромою.

Высокие рынды в белых одеждах стояли чинно по обе стороны. На правую руку от великого князя стояла скамья, на которой лежала его шапка, а по левую другая, с посохом и крестом.

Невдалеке сидел митрополит Геронтий, окруженный высшими духовными чинами, а затем уже на лавках, устланных суконными подушками, заседали бояре и князья.

Подьячий Родион Богомоллов с пером за ухом стоял вытянувшись в струнку на конце делового стола и держал под мышкой длинный столбец бумаги. Копейщики и дети боярские с заряженными пищалями стояли на страже у дверей.

Когда известная уже читателям запись была прочитана, лицо великого князя сделалось сумрачно, бояре и князья стали переглядываться между собою, поглаживать свои бороды, приготовляясь говорить, но, видимо, никто первый не решался нарушить торжественную тишину. Иоанн Васильевич обвел

глазами собрание, остановив на несколько мгновений свой взгляд на Назарии, сидевшем с опущенной долу головой, и на митрополита, погруженного в глубокие, видимо, тяжелые думы.

— Владыко святой, — начал он, — и вы все, верные сыны, опора отчизны нашей, не сердобольно ли слушать нам, как отвечают единокровные нам смельчаки новгородские. Они торжественно и бесстыдно запираются в данном мне от них имени государя, они, строптивые, казнят позорною смертью верных людей законному государю своему, прямо мекают о намерении поддаться Литве иноплеменной и явно поставляют меня лжецом перед лицом всей земли русской. Присудите, думные головы, как должен я поступить, чтобы стереть и с вас пятно, омрачающее честь нашу общую, — чернота лжи налегла и на ваши души, — чтобы укоротить языки и руки их, подвизающиеся на обиду великую, тяжкую, прикасающуюся до государя их, чтобы вынудить их выполнять, а не вторично изменять их святейшим клятвам, ознаменованным и крепко утвержденным крестным цело-

ванием, следовательно, тесно сопряженным с неотвратимую карою небес и примерным наказанием земного их судии?

Гневно сверкали глаза великого князя, и речь его лилась подобно огненному потоку лавы. Иоанн кончил, в палате воцарилась та же невозмутимая тишина, которая казалась теперь еще торжественней.

Первый, по обычаю и по старшинству, заговорил митрополит Геронтий.

— Возмогай о Господе! В державе крепости Его один пожнешь тысячу! Господь пошлет тебе от Сиона жезл силы, и одолеешь врагов своих, и смятутся, и погибнут они, и рассыпятся, яко прах. Бог восставит нам тебя, государь, яко древле Моисея, Иисуса Навина и других освободивших Израиля, яко от нечестивых фарисеев, разбойников и богоборцев, но прежде внемли мне: удержи праведный гнев свой, обрати еще на милость им: не видят бо, что творят. Мы пошлем к ним общие увещевания свои, и если и тогда не усмирятся, то пусть заблуждения взыграют, яко орлы, и посреди звезд устроят гнезда себе — свергнет их Господь оттуда!

Митрополит кончил и снова поник головою.

Его вдохновенная речь произвела глубокое впечатление, хотя некоторые из заговоривших бояр были против его миролюбия.

— Что еще за переговоры с ослушниками верховной власти! — заметил князь Даниил Холмский. — В первую войну они отгрызались литовщиной, и теперь тем же пахнут их речи.

— Оно так-то так, но ведь увещательное слово льнет к душе, особливо когда особа священная, благоизбранная произносит его, — возразил ему недавно прибывший из Новгорода боярин Федор Давыдович.

— Тогда мы не упрекнем себя, что поступили, не спрося ни совести своей, ни совета чтимого владыки и не приняв от него благословения на столь великое дело, — с ударением промолвил Назарий.

— Истинно, — сказал князь Стрига-Оболенский. — Будем примером в кротости и терпении. Враги наши сами устыдятся, и мы через это жару насыплем на голову их.

— Мы им зададим жару, когда обступим

стены домов их! — прервал речь его князь Семен Ряполовский, — стало быть, он полюбился им, когда еще старый не совсем простыл, а они...

— Я с тобой согласен, князь Семен! — крикнул боярин Василий Сабуров. — Пора подавить нам, брат, ненавистное, враждебное племя. Их увещевать надо языком смерти, словами, выкованными из железа, — это одно только они поймут, этому только и дадут веру.

— И видимо, а то они подумают, что своею записью заговорили нам зубы, или мы струсили, — заметил Сабуров.

— А вот как мы заставим их собственной кровью подписать договорные грамоты, так, небось, они от них не отступятся, — подхватил Ряполовский.

— Ничья судьба не ведома; это дело закрытое. Бывает, что и самая заносчивая голова скатывается с плеч ниже ног! — возразил Назарий. — Как лоб ни широк, стены им не спихнешь, как окропит его свинцовый дождик, так и ищи просухи в земле.

— Так могут думать и говорить одни запечные храбрецы новгородские, — колко от-

ветил ему князь Ряполовский. — Дома они соколами витают по звону вечеровому, на петли идут, медь за второго бога чтут, а от железа стаями бегут, даром что хорохорятся, как петухи!

— Да и петухи пряничные! За чужими спинами всякий сумеет выше колокольни подняться, шапкой в облака упереться, а как дойдет до размена ударов, и кричат громче своего колокола: «давай мировую, за что нам считаться, лучше чокаться кубками, чем мечами», — прибавил Сабуров.

— Трусость наша растеряна по полю, да не вы ли подобрали ее? — вдруг заговорил до сих пор молчавший дьяк Захарий. — От Волги до моря далеко усыпаны следы новгородские. Наших-то молодцев назвать домоседами? Как грибы растут они перед стенами вражескими, мечи их хозяйничают на чужбине, как в своих кисах, а самих хозяев посылают хлебать сырую уху на самое дно. Кто их не знает, того тело свербит, как ваши же языки, на острие.

— Смотри, пожалуйста, как эти чернильные дрожжи раздулись! Отодвинься, князь Данила, а то они лопнут, так забрызгают! —

сказал Сабуров.

— Долго ли до греха, — отвечал князь Данила Холмский. — Он и сам-то не просох еще с давишной попойки. Разве попробовать выжать его, начать хоть с головы, а от нее уже и до ног недалеко.

Кругом раздался общий хохот.

— А земляк-то его прикусил язык.

— Видно, слова наши прямо в цель попали, — заметил Ряполовский.

Терпение Назария истоцилось, глаза его разгорелись, руки невольно сжали рукоятку меча, он вскочил с места и произнес дрожащим от гнева голосом:

— Кто хочет слышать ответ мой, тот может принять его с конца копья...

Великий князь, разговаривавший все время с митрополитом, повернулся в сторону споривших и повелительно произнес, указав на Назария:

— Правда, он горожанин без отечества, но вы люди без души, если ставите ему в укор любовь к родине. Теперь он москвитянин, стольный град наш — кровь его, рука моя — щит, а самая заступа его — честь его; кто хо-

чет на него, пойдет через меня.

Бояре разом умолкли.

«Забылись мы!» — подумал каждый про себя. — «Вот что значит свое и чужое!»

XI

Увещательная грамота

— **П**иши! — обратился великий князь к подьячему Богомолочу.

Тот быстро развернул столбец бумаги, обмахнул перо в медную чернильницу и стал выводить им крючковатые старинные буквы, под диктовку самого Иоанна.

«Люди новгородские! Рюрик, святой Владимир и другие предки мои, память им вечная, повелевали вами, как подвластными себе во всю волю свою, и вы не смели ослушаться их. Вы служили им верно и честно, и вся эта честь принадлежит вашим предкам; теперь я наследую право сие, жалую вас, ограждаю силою моею, но могу ею зло казнить дерзких ослушников. Когда вы были ведомы Литвою и платили ей поголовную дань свою, я не обременял вас своею такою же, но только ис-

требовал законной доли своей, установленной веками, дедами и отцами нашими; вы же замыслили прежде и теперь сделаться отступниками от нее, стало быть и от меня, и хотите опять предаться Литве, несмотря на завещание предков: блюсти повиновение законное старшему удельному князю Русскому. Казнь Божия над вами. Вы побили торговою казнь честных горожан, преданных мне и, что всего позорнее, оболгали меня перед всею Русью, якобы не называли меня государем своим. За все сие я посылаю вам окладную грамоту и вслед за ней иду со всем воинством моим, наказать вас, строптивых ослушников. Но я, как чадолюбивый отец, готов еще помирить вас, детей своих, если вы одумаетесь и преклоните повинные головы, испросите у меня отпущения за все вины свои, подтвердите прежние слова свои и согласитесь на все условия, извещенные вам под стенами Новгорода Великого — там повидаемся мы!»

Митрополит собственной рукою сделал приписку на этом же столбце:

«С соболезованием душевным слышу о мятеже и расколе вашем. Бедственно и едино-

му человеку уклониться от пути правого, но еще гибельнее вдаваться в него целому народу. Вам самим ведомо „не суть боги их, яко наш Бог!“ Трепещите заблуждений, страшный серп Божий, виденный пророком Захарием, да не снидет на главу сынов ослушных; вспомните реченное в Священном Писании: „Беги греха, яко ратника, беги от прелести, яко лица змеина“. Сия прелесть есть латинская: она уловляет вас опять легковерных. Разве пример Византии не доказал гибельного действия увещевания ее? Греки славились благочестием, соединились с Римом и служат ныне туркам нечестивым. Опомнитесь же, вразумитесь силою бодрости душевной и воспряньте от нечестия, омрачающего вас! Досель вы были сохранными, целы под прочною рукою Иоанна, но когда отвергнетесь от него — и погибнете. Страшно подумать, как дерзнули вы злоязычничать на законного повелителя вашего и отступать от собственных словес и письмен, начертанных руками вашими с полюбовного согласия всего Новгорода и владыки вашего Феофила!»

«Троекратно увещаваю вас, не забывайте

слов апостола: „Бога бойтесь, а князя чтите“. Состояние града вашего ныне уподобляется древнему Иерусалиму, когда Бог готовился предать его в руки Титовы. Смиритесь же, да прозрят очи души вашей от слепоты своей — и Бог мира да будет над вами непрестанно, отныне и до века. Аминь».

Отданная на обсуждение бояр грамота и отпись к новгородцам получили всеобщее единогласное одобрение; сам Назарий согласился, что поступить иначе с ними нельзя.

— Защита новгородцев — это паутинное ткание, — сказал Федор Давыдович. — Я сам видел, как тцатся они о войне: пьют, да бьют — вот и все, что можно об них сказать.

— Тем лучше! Как мы нагрянем на них, так поневоле придут к нам челом бить, как на Страшное судилище, — ответил Холмский.

— Я с своей стороны давно подумывал, что пора подчинить их самосудную власть одному князю. Насмотрелся я вдоволь на их посадников. Это не блюстители правосудия, а торгаши властию и совестью; правота там продается, как залежалый товар, — заметил снова Федор Давыдович.

— Грустно об этом слышать, не только видеть подобное зло! — промолвил Стрига-Оболенский.

— И зло и язву! Этими недугами болят уже псковитяне: и к ним она прикоснулась, — произнес Ряполовский.

— Да, да, они во всем передразнивают новгородцев, — согласился Сабуров.

— Да как же! В случае задирки кого-нибудь Новгород им помога, а в случае утяги с битвы он для них всегда был теплою пазушкой, — сказал князь Холмский.

— Недобрые вести расскажу вам и про Тверь, — начал боярин Ощера, недавно вошедший в думную палату, — и в ней поселилась литовщина. Тверь лишь тем рознится от Новгорода, что тот бушует вслух, а эта втихомолку, про себя. Я давно уже примечаю тверских шатунов в Москве и давно бы пора захлестнуть их за шею, да нельзя еще явно похватать из народа. Вот как мы гульнем к ним на перепутье, повысмотрим, да повыглядим их движения, да усмирим новгородцев и заметим по дороге притаившихся молодцов, чтобы так — одним камнем наповал обоих!

— Уж где литовщина, там и бесовщина! — заметил Назарий.

Бояре в присутствии великого князя всегда говорили между собою не громко, но четкое ухо его не пропускало мимо ушей их слова, несмотря на то, что он порой занимался другим делом. По его наказу Ощера переряжался в разные платья и шнырял между народом, причем его обязанностью было не говорить, а только слушать, держась его же заповеди: не выпускать, а принимать.

Дела и даже самые мысли князя Михаила были нанизаны перед ним как на ниточке. От этого он и брал все меры осторожности, оттого про него и говорили в народе:

«Князь московский думает, да замышляет, нынче — друг, завтра — враг, ты о чем только подумаешь, а он уже это сделает».

Великий князь между тем подписал грамоту и отпустил Богомолова.

По его уходе двери думной палаты распахнулись и Иоанн повелел собрать полный совет народный для выслушания воли его. Перед лицом великого князя предстали, кроме митрополита, епископов, братьев, бояр и про-

чих думных людей, окольниковы, стольники, стряпчие, дьяки, головы, сотники, дети боярские, гости, жильцы, торговые и другого сословия люди.

Думный дьяк и печатник изложили им дело и потребовали их мнения.

Когда они замолчали в ожидании ответа, присутствующие единогласно воскликнули:

— Государь-надежда, возьми оружие. Буде тебе угодно, отцу нашему, и мы пойдем воевать Новгород. Во всем твоя воля. Повели, и пойдем искать охочих людей сберегать твою особу и наказать ослушников воли твоей.

— На начинающих Бог. Да будет война! — торжественно произнес Иоанн.

Народный совет кончился.

Через несколько дней были посланы по всем городам московского княжества гонцы, или бирючи (их называли также кличаями), с грамотами, в которых объявлялось всем и каждому, кто обязывался носить оружие, собираться в стольный город Москву, чтобы оттуда вместе выступить на врагов.

ХII

Под стяг московского князя

Полки начали собираться под стенами московскими. Из всех мест то и дело приходили в большом числе ратники: их не приневоливали — они сами шли охотно на службу Иоанна Великого.

В числе их находились жители уже присоединенных в то время московским князем тверских и новгородских земель: Кашинской, Бежицкой, Новоторжской и других.

Сам Иоанн, следуя обычаю предков, раздавал перед войной милостыню бедным, делал большие вклады в храмы и монастыри и молился над прахом своих предместников в соборах, которые были день и ночь открыты для богомольцев.

Наконец настало 8 октября — день выступления соединенной московской дружины. День был тихий, ясный; солнце при восходе яркими лучами рассеяло волнистый туман и, величественно выплывши на небо, отразилось тысячами огней на куполах церквей и

верхах бойниц и башен кремлевских.

Послышался звон с колокольни Иоанна Лествичника, колокола других церквей заворили ему, и разлился красный звон по всей Москве, как в Светлую Христову ночь.

Кремль уже кипел народом, но толпы его все прибывали: все спешили проститься с любимым князем, с дружиною его, отцами, сыновьями, мужьями и внуками, отправляющимися искать ратной чести на чужбине.

Звук гудящей меди не пугал москвитян. С веселыми лицами приветствовали они золотым огнем рассыпавшуюся денницу и друг друга, как бы в день Светлого Христова Воскресенья, обнимались, целовались и проливали слезы умиления, созерцая великолепную и трогательную картину собиравшихся под развевающиеся знамена, как под хоругвь защиты небесной, храбрых веселых ратников.

От Красного крыльца до Успенского собора народ стоял в два ряда, ожидая с нетерпением великого князя, который прощался с своей матерью, поручая юному сыну править Москвою, одевался в железные доспехи, отдавал распоряжения своей рати.

Распоряжения эти были следующие: всей дружине разделиться на пять полков: на большой, передовой, правый, левый и сторожевой или запасный; для самого же себя назначил отборный, чтобы в таком порядке выступить из Москвы вперед до дальнейших распоряжений.

Любимая дряхлая мать Иоанна наконец троекратно перекрестила великого князя, повесила ему на шею охранительный крест с мощами, поцеловала его и, горько заплакав, отпустила его.

Лишь только показался великий князь на Красное крыльцо — в народе и среди войска раздался общий крик восторга:

— Властитель наш, богоизбранный государь-надежда, ты любимец неба и земли. Повелевай нами; рады умереть за тебя все до единого, рады для тебя сложить головы свои и вражеские!..

Иоанн приветливо улыбнулся и пошел далее, кланяясь во все стороны.

Бояре и стража следовали за ним.

Митрополит со всем духовенством, в праздничном облачении, с образами Всеми-

лостивейшего Спаса и Владимирской Богоматери, писанными евангелистом Лукою, и святого Георгия Победоносца, высеченным из камня, с хоругвями, величественно колыхавшимися над обнаженными головами толпы, плавно шел навстречу ему при пении клира: «Да воскреснет Бог и расточатся врази Его».

Великий князь благоговейно приложился к святым иконам, низко-низко преклонился перед владыкою Геронтием, когда тот осенил его животворящим крестом.

— Аз воздвиг тя, царя правды, — говорил митрополит, — и приях тя за руку десную и укрепих тя, да послушаю тебя языцы, и крепость царей разрушиши, и Аз пред тобою иду и горы сравню, и двери медныя сокрушу, и затворы железные сломлю. Тако гласит Господь.

Архиепископ Виссарион добавил, благословляя в свою очередь Иоанна:

— Да будет тако! Благословение наше на тебе и на всем христолюбивом воинстве твоём. Аминь.

На далекое пространство развернулась картина собравшегося войска перед востор-

женными взорами великого князя.

Знамена его, или по тогдашнему стяги, были окроплены святою водою.

Чудную, невыразимую пером картину представлял Кремль.

День блистал лучезарный, ослепительный, несмотря на то, что на дворе стоял уже угрюмый октябрь.

Небо как будто бы праздновало вместе с землею счастливое выступление русских дружин.

Горевшие под яркими лучами солнца кресты и купола храмов, светлые кольчуги и нагрудники стройных дружин, недвижно внимавших поучения слова Господня, произнесенного митрополитом, тысячи обнаженных голов горожан и тысячи же поднимавшихся рук для совершения крестного знамения, торжественный гул колоколов — все это очаровывало взгляд и наполняло души присутствующих тем особенным священным чувством благоговения, которое редко посещает человеческие души.

Эта была беседа небес с землею.

Колокольный звон постепенно стихал, на

смену ему разливался другой: заиграли рога, трубы, сапели[62], зурны, зазвучали накры [63]. Кони начали ржать, ратники задвигались и стали быстро садиться на коней, бряцая оружием.

Надобно заметить, что в описываемое нами время было больше конницы, нежели пехоты, а оружие русских воинов состояло уже не из самострелов, подкатных туров, приступных перевесов, быков, баранов или огнестрельных пороков, или зелий, и прочих орудий, употреблявшихся ранее при осадах, но из пушек и завесных пицалей[64], или ружей, двойных колчанов с луками и стрелами, сулицы[65], которым поражали неприятеля издали, кистеней и бердышей.

Ножи бывали также не у всех воинов, но мечи и копья — у каждого.

ХIII

Выступление и поход

Великому князю подвели богато убранного вороного коня, покрытого алой бархатной попоной, унизанной жемчугом и самоцветными камнями. Уздечка на нем была наборная из серебручечанных колец.

Князь Василий Верейский, сжимая острогами крутые бока своего скакуна, уже гарцевал перед теремом княжны Марии, племянницы великой княгини Софьи Фоминишны. Наличник шлема его был поднят, на шишаке развевались перья, а молодецкая грудь была закована в блестящую кольчугу.

Княжна Мария, любуясь в косячатое окно на своего суженого, роняла на грудь блески слезинок... но роман их не служит нам темою: о их будущем браке говорит история.

Бояре и воеводы плотно окружили своего князя.

Все еще раз истово перекрестились на храмы, поглядели на кремль, вообще, каждый на свой терем — в особенности и, поклонясь на-

роду на все четыре стороны, двинулись.

Скоро густые облака пыли, поднятые конницей, скрыли из виду удаляющиеся дружины; только изредка мелькали вдали кольчуги, подковы лошадей, да брызгающие из-под них искры.

Все оставшиеся, поникнув головами, начали расходиться.

Столица осиротела.

Предки Иоанновы, воевавшие с новгородцами, бывали иногда побуждаемы неудобством перехода по топким дорогам, пролегающим к Новгороду, болотистым местам и озерам, окружавшим его, но несмотря на это, ни на позднюю осень, дружины Иоанна бодро пролагали себе путь, где прямо, где околицею. Порой снег заметал следы их, хрустя под копытами лошадей, а порой, при наступлении оттепели, трясины и болота давали себя знать, но неутомимые воины преодолевали препятствия и шли далее форсированным маршем.

Москвитяне, раздосадованные изменою новгородцев, остервенились и, казалось, считали их хуже татар.

Все встречавшееся им трепетало перед ними, как перед лютейшими врагами; по лесам, до тех пор непроходимым, гнали отнятый скот, везли продовольствие и были веселы и сыты.

От востока и запада неслись они ураганом к озеру Ильмень.

Сам великий князь с отборным полком шел впереди, направляясь через Торжок на дорогу, находящуюся между дорогою Яжелбицкою и Метою.

Татарский царевич Данияр, сын Касимов, и Василий Образец назначены были идти в сторону от него по Замте.

Князь Даниил Холмский шел за Иоанном с детьми боярскими, владимирцами, переяславцами и костромитянами, за ним два боярина с дмитровцами и коломенцами.

С правой стороны — князь Симеон Рязанский с суздальцами и юрьевцами, а с левой — брат великого князя Андрей Меньшой и Василий Сабуров с ростовцами, ярославцами, угличанами и бежичанами; с ними шел воевода матери великого князя [66] Семен Пешков с ее двором.

Между дорогами Яжелбицкою и Демонскою шли князя Александр Васильевич и Борис Михайлович Оболенские, первый с калужанами, радонежцами, новоторжцами, а второй с можайцами, волочанами, звенигородцами и ружанами (жителями города Рузы).

По самой дороге Яжелбицкой шел боярин Федор Давидович с детьми боярскими двора великокняжеского и коломенцами, а также князь Иван Васильевич Оболенский со всеми его братьями и детьми боярскими.

Передовой отряд великого князя достигал уже Торжка, и за ним шел сам Иоанн Васильевич.

В Торжке народ встретил московского князя искренними восторженными криками — жители Торжка любили более москвитян, как своих одноплеменников, чем литовцев, которых они звали голыми челядинцами.

Князь Михаил Микулинский — любимец князя тверского Михаила — сделал Иоанну торжественную встречу. Он сошел перед ним с своего коня, низко поклонился и приветствовал его от имени своего князя, приглашал от его лица в Тверь откусать хлеба и со-

ли.

— Не время угощаться мне, — отвечал Иоанн. — Не затем поднялся я в поход дальний, чтобы пировать пиры по дороге, если же хотите доказать приязнь свою, то приготовьте мне воинов, чтобы вместе наказать нам непокорных новгородцев. Хочу я так поступать отныне со всеми открытыми и застенными врагами.

Микулинский поднял шлем и, запинаясь, отвечал:

— Мы всегда готовы покорствоваться тебе, князю князей: повели — представим тебе потребное число воинов. Мы не ослушники твоей воли...

— Знаю и тех, кто одной рукой обнимает, а другой замахивается. Я жду воинов ваших к делу, которое скоро начнется, — с ударением заметил великий князь.

Князь Микулинский молча поклонился и отошел в сторону.

За ним представились новгородские послы — опасчики, прибывшие просить у великого князя опасных грамот для архиепископа Феофила и посадников, намеревавшихся от-

правиться к нему для переговоров. Их было трое: староста Даниславской улицы, Федор Калитин, гражданин Житов и гражданин Мавков.

— Неизменно бьем челом тебе, государю нашему! — говорили они. — Желаем благоденствовать многие лета и просим униженно милосердия твоего: повели дать свободный пропуск.

Иоанн почти не взглянул на них и, прервав их просьбу, сказал:

— Вы сами ниже земли поступками своими, лицемерные люди! В глаза признаете меня государем, а заглазно не только не держите имя мое грозно, но еще всячески его поносите. Я переговорю с вами выстрелами.

Он сделал знак рукою, послов схватили и увели, а великий князь поехал обедать к брату своему Борису Васильевичу в Волок со всею свитою и князем Микулинским.

Во время шумной и роскошной трапезы разговор, конечно, вертелся на цели похода — Новгороде.

Московские бояре по очереди выходили, по обычаю того времени, из-за стола на сере-

дину гридницы и кричали:

— Пьем за здоровье великого князя, всего двора его, воинства и союзников!

Князь Микулинский закричал:

— Я пью за здоровье будущего победителя новгородцев!

«И тверитян», — подумали многие про себя, осушая большие кубки.

— Будущее таится в руке Божией, — скромно произнес Иоанн, — а лучше выпьем за бывших победителей их, подивимся храбрости доблестных мужей и произнесем им вечную память.

Хмель вскипятил кровь молодости и разогрел холод старости — языки развязались, бояре стали разговорчивее, смелее.

— Правду-матку сказать, государь, — воскликнул Ряполовский, — ты победил их пять лет тому назад. Честь тебе и слава! Но сами они тоже часто натыкались на смерть, купленную ими междоусобною сварою: она на них из-за каждого угла целила стрелы свои и на твое оружие натыкались они, как слепые мухи на свечку. Стало быть, следует пить и за их здоровье: они и сами много помогли

победить себя.

— Непременно, — подхватил Сабуров, — дух междоусобий был для них меч обоюдоострый; памятен этот меч нашим предкам.

— Но вы забыли прибавить к числу собственных их язв острые языки литвин, — сказал Федор Давыдович, — они, как ножи, втыкались в уши новгородцев и вели их короткою дорогою на погибель.

— Кому здоровье, а им анафема, двоедушникам!.. Клянусь всей роднею моею, покинутой в Москве, не щадить до конца жизни это проклятое племя, если встретятся они с нами в битве за новгородцев, хотя бы они налетели на нас на огненных драконах! — вскричал князь Даниил Холмский.

— В Новгороде, говорят, конский падеж, а так как они не завелись еще воздушными конями, то наверно выедут против нас на коровах, — пошутил боярин Ощера.

На шутку его, однако, никто не откликнулся.

— Храбрым воинам здоровье, литвинам анафема! — резюмировал бывший при особе великого князя Назарий.

— Я заколочу тем рот до самой рукоятки меча моего, кто осмелится тайно или явно доброжелательствовать им и поминать их не лихом! — воскликнул князь Василий Верейский.

Трапеза между тем окончилась.

Иоанн дал знак к походу.

С московскою дружиною отправился и брат великого князя Борис Васильевич.

XIV

Новгородские перебежчики

4 ноября к соединенным московским дружинникам присоединились тверские, под предводительством князя Микулинского, и привезли с собой немалое количество съестных припасов.

Но воины тверские были плохо одеты для ненастного времени и были, видно с расчетом, не завидны ни для своих, ни грозны для неприятеля, ни по виду, ни по летам, ни по вооружению.

Москвитяне смеялись над ними.

— Да они, видно, у смерти на время выпро-

шены, — говорили они, — и грозны столько же для нас, сколько и для врагов, и тех и нас станут морить не от меча-кладенца, а от сме-ха.

Иоанн заметил эту хитрость тверского князя, но молчал и был милостив к пришедшим воинам и приветлив с их предводителем.

Через несколько времени великий князь потребовал к себе задержанных опасчиков новгородских, укорял их в неверности и, наконец, велел дать им охранные и опасные грамоты для послов и отпустил восвояси.

Между тем в стан его стали прибывать многие знатные новгородцы и молили принять их в службу; иные из них предвидели неминуемую гибель своего отечества, другие же, опасаясь злобы своих сограждан, которые немилосердно гнали всех подозреваемых в тайных связях с московским князем, ускользнули от меча отечества и оградились московским от явно грозившей им смерти.

В числе прибывших новгородских вельмож был, к удивлению всех, посадник Кирилл — отец Чурчилы.

Все знали в нем верного приверженца новгородской вольницы и ревностного защитника ее прав.

— Какой ветер вынес тебя из дома отцов твоих и занес сюда? Добрый или злой? — спросил его великий князь.

— Там потянул на меня злой ветер, государь, а к тебе занес добрый, — отвечал Кирилл. — Обида невыносимая, личная, сгибает теперь главу мою пред тобою. Прикажи, я поведаю ее.

— Что мне до того? Тебя и всех старейшин Новгорода можно назвать детьми, потому что вы играете опасностью и страшитесь безделицы. Ты был один из злейших врагов моих, и я наказую тебя милостию моего прощения, — ласково положил руку Иоанн на плечо Кирилла.

— Истинно наказуешь, — воскликнул последний со слезами в голосе, целуя руку великого князя. — Раскаяние гложет, совесть душиет меня. Позволь хоть умереть за тебя.

— Хорошо, старик, — отвечал Иоанн, — скоро я пошлю тебя опять домой с ратью моею. Если ты верно сослужишь мне эту службу,

то сам в себе успокоишь совесть, а если — ты понимаешь — хотя ты скроешься в недра земли, не забудь, есть Бог между нами!

— И с нами, государь, везде присутствует Дух Его. Посылку твою приму я, как драгоценную награду: она зажжет в старике пыл молодости и укрепит мою руку. Первая голова вражеская падет от нее за Москву, вторая — за детей и братьев твоих, а моя — сюда скатится, за самого тебя!..

— Ну, что ваш Новгород? — спросил великий князь других. — Думает ли он обороняться?

— Смотрит-то он богатырем, государь, — отвечали они, — силится, тянется кверху, да ноги-то его слабеньки. Погоди немного, упадет он сперва на колени, а там скоро совсем склонится, чокнется самой головой о землю, рассыплется весь от меча твоего и разнесется чуть видимую пылью, так и следа его не останется, кроме помину молвы далекой, многолетней...

Эта льстивая речь оказалась пророчеством.

Всех новгородских перебежчиков великий

князь принял в свою службу и милостиво одарил.

Достигнув Палины, Иоанн вновь устроил войска уже для начатия неприятельских действий, вверив передовой отряд брату своему Андрею Меньшому и трем опытнейшим и храбрейшим воеводам, Холмскому, Федору Давыдовичу, и князю Ивану Оболенскому-Стриге.

Распорядясь таким образом, он послал своего дьяка Григория Волина с записью в Псков, требуя себе подмоги и продовольствия от псковитян.

Московский дьяк, прибывши в Псков, увидел в нем почти одни головки, торчащие обгорелые столбы, да закоптелые стены, оставшиеся от недавно бывшего в городе пожара.

— Вот ты сам видишь, — говорили псковитяне Волину, — какую мы помощь можем оказать великому князю, когда сами нуждаемся в ней.

— Вижу, — отвечал дьяк, — что не стены ваши целы, а сами вы, да нам они и не нужны, а вы сами. Что вам тут осталось делать, не жар загребать, или начинать работать топо-

ром! Лучше действовать мечом.

— Да мы еще льем слезы на пепле наших жилищ! — говорили они уклончиво.

— Уж теперь поздно заливать ими пожараще, — отвечал он и настойчиво продолжал требовать от них людей и оружие.

Псковитяне уже перешепнулись с новгородцами, которые соблазняли их соединением с собою и разными заманчивыми выгодами, но благоразумие взяло верх.

Псковитяне, поняв, что от всякого выигрыша, полученного ими от новгородцев, они будут в проигрыше, собрались на вече.

— Если мы передадимся Новгороду и он падет, — говорили они между собою, — то придавит и нас. Лучше не раздраживать московского князя, а поскорее услужить ему всячески, чтобы самим дорого не пришлось расплачиваться.

К тому же псковский наместник, князь Василий Васильевич Шуйский, настаивал на скорейшем исполнении великокняжеской воли, и они, хотя со вздохом, но выдвинули свои пушки и самострелы, и набрав сильную рать с семью посадниками, выставили ее

Шуйскому, который и поспешил с нею к берегам Ильменя, к устью Шелони, как назначил ему великий князь.

XV

Новгородское посольство

23 ноября великий князь находился уже в Сытине.

Рано утром, когда солнце на востоке, застланное зимним туманом, только что появилось бледным шаром без лучей, и стан московский, издали едва приметный, так как белые его палатки сливались с белоснежной равниной, только что пробудился, со стороны Новгорода показался большой поезд.

Это было посольство, с владыкою Феофилом во главе.

Подъехав к великокняжеской палатке, отличавшейся от других своим размером и золотым шаром наверху, прибывшие сняли шапки и подошли.

Остановленные стражею, они передали ей свое желание видеть великого князя и говорить с ним.

Десятник стражи доложил об этом ближайшим боярам великокняжеским, а последние ему самому.

Но он уже слышал голоса прибывших и вышел к ним.

Посольство состояло из многих людей всякого чина в богатых собольих шубах нараспашку, из-за которых виднелись кожухи, крытые золотой парчой.

Архиепископ Феофил смиренно стоял впереди и низко поклонился великому князю.

Его примеру последовали и другие.

— Государь и великий князь, — начал Феофил. — Я, богомолец твой, со священными семи соборов и с другими людьми, молим тебя утешить гнев, который ты возложил на отчину твою. Огонь и меч твой ходят по земле нашей, не попусти гибнуть рабам твоим под зельем их.

Другие обратились к нему с просьбою о даровании свободы закованным в московские цепи новгородским боярам.

— Они сами сковали их на себя! — сурово отвечал Иоанн и, не продолжая с ними разговора, пригласил их, однако, к себе на трапезу.

Во время последней великий князь послал боярам кушание в рассылку, а новгородцам особенно и, кроме того, хлеб, в знак милости, по обычаю того времени, а Феофилу — соль, в знак любви.

Ендовы переварного меда возвышались на столе для всех, а владыку новгородского Иоанн угощал из собственного поставца.

Все были обворожены его обхождением и не знали, как изъявить ему свою преданность.

— Если бы зависело от одного меня отдать тебе город, государь, — сказал Феофил, — я бы устроил это скорее, чем подумал.

— Верю, — отвечал Иоанн. — Но мне желательно знать, как приняли новгородцы мою записку, отправленную к ним еще из Москвы? Что придумали и что присудили думные головы отвечать на нее? За мир или за меч взяли они?..

Феофил молчал, уныло опустив голову.

Великий князь понял и тоже замолчал.

Разговор сделался общий между боярами.

— Скоро, чай, вы будете постничать: город ваш со всех сторон обложим ратью нашей

так, что и птица без спроса не посмеет пролететь в него, — говорил один из московских бояр новгородскому сановнику.

— Если не птицы, так стрелы наши станут летать к ним рассыпным дождем! — заметил другой.

— Что ж, в таком случае вам придется взять город порожний! — спокойно отвечал новгородец.

— Это значит, вы все хотите помереть голодною смертью?

— Нам некогда будет думать об яствах, сидя на стенах и на бойницах.

— Им голодным-то еще легче будет пере-скакать через стены, чтобы отбивать нас от них! — слышалось замечание.

— А я думаю, напротив: тощие-то они не перешагнут и через подворотню домов своих, не только что через стены... Да и для нас будет лучше, так как неловко метиться в те-ни, — возразил другой боярин.

— Зато мы не будем промахиваться в смельчаков московских; наши огнеметы доб-рые; только подходите погреться к ним; как шаркнут, на всех достанет, — заметил новго-

родец.

— Не так ли, как лет пяток тому назад, когда огнеметы ваши сами прохладжались в озере? — спросил его Ряполовский.

— Тогда были изменники среди нас; их вы осыпали золотом, а теперь они засыпаны землей, — с торжественною язвительностью отвечал новгородец.

— И теперь они есть, только, хвала Создателю, не между нами, — заметил другой и обвел взглядом обширный стол, но Назария и Захария не было в палатке великокняжеской.

Трапеза кончилась.

Иоанн, выходя из палатки, подозвал к себе князя Ивана Юрьевича и поручил ему говорить за себя с посольством.

— Чего вы хотите от государя своего, чтимые мужи новгородские? — спросил он его.

— Князь! Одна ваша просьба до него и вас: уймите мечи свои. За что ссориться нам и что делить единокровным сынам Руси православной? — отвечал один из них.

— Челобитье наше перед государем! — заговорил другой. — Прими нас в милость свою, мужей вольных, а там пусть будет то, что Бог

положит ему на сердце; воля его, терпенье наше, а претерпевший до конца спасен будет.

— Милость и казнь в его власти, — отвечал им князь Иван, — ни то, ни другое не обойдет вас. Покоритесь и примите его в врата градские как единственного законодателя вашего.

— Мы дозволим ему делить власть с вечаем, — заявили новгородцы, — только оставь он нам чтимое место, завещанное нам и всем потомкам нашим от дедов и отцов.

— Пожалуй, обратите ваш колокол в трон, и воссядет на нем князь наш, и начнет править вами мудро и законно, и хотя не попустит ничьей вины пред собою, зато и не даст в обиду врагам, скажите это землякам вашим — и меч наш в ножнах, а кубок в руках, — сказал Иван.

— За что гнев его поднялся над главами нашими, как гроза небесная? Разве мы не чествовали имя его грозно? Разве не ломились под нашими богатыми дарами золотые блюда, когда мы подносили их его чести? Разве не низко клонили мы головы свои и самому ему, и вам, господам честным? Примите нас в милости свои. Попутал нас прежде враждебный

дух Литвы, но ныне не поддадимся ему! На вас вся надежда наша; не обойдите нас заступлениями своими: замолвите за нас слово у князя великого, и благодарность наша к вам будет немалая, — упрашивали князя Ивана новгородцы.

В разговор вмешался боярин Федор Давыдович.

— Однако Литва-то оставила в вас недобрые семена свои, — семена лжи и непризнательности. Не вы ли прислали сановника Назария и вечаевого дьяка Захария назвать князя нашего государем своим и после отреклись от собственных слов своих? Не вы ли окропили площади своего города кровью мужей знаменитых, которых чтит сам Иоанн Васильевич? Не вы ли думали снова предаться литвинам? Теперь разделяйтесь же с оружием нашим, или сложите под него добровольно свои выи, одно это спасет вас.

Князь Иван добавил в заключение:

— Долго терпел князь наш нестерпимое, но теперь обнажил меч свой по слову Господню: «Аще согрешит к тебе брат твой, обличи его наедине, аще не послушает, пойми с со-

бой два или три свидетеля, аще же тех не послушает, повеждь церкви, аще же церкви не радеть станет, будет тебе яко язычник и мытарь». «Уймитесь и буду вас жаловать», писал вам великий князь, — но вы не правым ухом слушали слово его, и милость его прекратилась к вам. Заключение горожан также не освободит великий князь, так как вы сами прежде жаловались на них как на незаконных грабителей отчизны вашей. Ты сам, Лука Исаков, находился в числе истцов, и ты, Григорий Киприянов, от лица Никитиной улицы, — продолжал князь Иван, обращаясь то к тому, то к другому. — Мои уста произносят слова великого князя. Буде хотите образумиться, вам условия ведомы, а то меч помирит нас, хотя и не он поссорил.

С поникшими головами слушали новгородцы увещания московских воевод и, сказав, что они сами ничего решить не могут, вышли из палатки и немедленно отправились восвояси, под охраной великокняжеского пристава от далеко не мирно настроенных против них московских дружин.

Вскоре после их отъезда двинулись мос-

ковские дружины к Городищу, для занятия монастырей, чтобы новгородцы не выжгли их.

Воины смело вступили на лед озера Ильмень.

— Настало время послужить государю! За нас правда и Бог Вседержитель! — говорили они.

XVI

Перед осадой

Возвратимся на время в Новгород, дорогой читатель, и посмотрим, что делалось там во время похода Иоаннова.

Вечевой колокол гудел чуть не ежедневно, и на дворище Ярославовом собирались посадники и старосты всех улиц в ожидании ответа Иоанна на запись их.

Архиепископ Феофил был неусыпным блюстителем тишины и спокойствия, несмотря на то, что Марфа с тысяцким Есиповым и с литовскою челядью всегда успевала перекричать даже вечевой колокол.

Ворота чудного дома Борецкой были широ-

ко отворены не только для клеветов ее, но даже для нищей братии, для всех, кто желал утолить свой голод и жажду.

Служители Марфы, кроме того, щедрою рукою рассыпали монеты толпившемуся на дворе народу, и последний, под влиянием хмеля, оглашал воздух восторженными в честь щедрой хозяйки криками.

Борецкая, окруженная всегда толпой своих приверженцев, осушавших бесчисленные кубки, с восторгом прислушивалась к этим крикам.

Она владела несметными, непрожитными богатствами и, лишившись своих сыновей, видя темную одинокую будущность, не знала кому передать свои сокровища, а потому, всецело отдавшись честолюбию, решилась купить ими историческую славу.

Она достигла этого, хотя слава ее печальна.

Наконец ожидания посадников и старост кончились. Родион Богомоллов прибыл в Новгород с ответною грамотой от московского князя и проехал прямо на вече.

Народ повалил туда со всех сторон, стол-

пился на дворище Ярославовом и стал неистовыми криками требовать скорейшего прочтения грамот.

Новоизбранный дьяк веча, испросив благословения у владыки Феофила, поклонился во все стороны, поднял вверх руку и замахал бумагой над шумевшей толпой.

Чтобы показать собою пример уважения к московскому князю, Феофил снял свой клобук и, наклонив голову, почтительно и внимательно слушал запись, но когда дело дошло до складной грамоты, лицо его побледнело, как саван, посадники невольно вздрогнули, а народ, объятый немym ужасом, не вдруг пришел в себя.

Марфа Борецкая, значительно переглянувшись со своими, первая вскочила с своего места.

— Ну, что скажете вы теперь, советные мужи Новгорода Великого? Прячьтесь скорей в подпольные норы домов своих, или несите Иоанну на золотом блюде серебряные головы чтимых старцев, защитников родины. Исполнились слова мои: опустились ваши руки. Кто же из вас будет Иудой-предателем? Спе-

шите, пока все не задохлись еще совестью, пока гнев Божий не разразился над вами смертными стрелами.

— Напрасно ты нас упрекаешь, боярыня, в таких зазорливых делах. Пусть вражий меч выточит жизнь мою, а я все-таки останусь сыном, а не пасынком моего отечества! — возразил ей тысяцкий Есипов.

— Честь тебе и слава! — отвечала Марфа. — Все равно умереть: со стены ли родной скатится голова твоя и отлетит рука, поднимающая меч на врага, или смерть застанет притаившегося. Имя твое останется незапятнанным черным пятном позора на скрижалях вечности. А посадники наши, уж я вижу, робко озираются, как будто бы ищут безопасного места, где бы скрыть себя и похоронить свою честь.

— Боярыня! — воскликнул гневно посадник Кирилл, предупредив своих товарищей. — Честь такая монета, которая не при тебе чеканилась, стало быть, не тебе и говорить о ней. Теперь одним мужам пристало держать совет о делах отчизны, а словоохотливые языки жен — тупые мечи для нее.

Борецкая вздрогнула, но не вдруг ответила, стараясь подавить свое волнение.

— Давно замечала я, но теперь ясно вижу, в кого метят стрелы твои, Кирилл. Черный язык свой хочет закоптить и меня, чтобы унижением моим лишить Новгород всякой опоры. Ты давнишний наветник Иоанна московского, ты достоин награды изменников Упадыша, Василия Никифорова и других злоумышленников против отчизны нашей. Кто из вас сохраняет еще любовь к бедной родине нашей, — обратилась она ко всему собранию, возвышая голос и окидывая всех вызывающим взглядом, — допытайте этого неверного раба острием меча вашего и вышвырните им из него змею — душу его, а то яд ее привьется и к вам.

— Славь Бога, — крикнул он ей, скрежеща зубами от ярости, — что ты далеко каркаешь от меня и руки мои не достигнут тебя, гордись и тем, что позволяет честное собрание наше осквернять тебе это священное место, с которого справедливая судьба скоро закинет тебя прямо на костер. Товарищи и братья мои, взгляните на эту гордую бабу. Кто окру-

жает ее? Пришельцы, иноземцы, еретики. Кто внимает ей? Подкупные шатуны, сор нашего отечества.

— Заклепите его в кандалы и швырните на расщипку копий и мечей! — кричала в свою очередь Марфа, задыхаясь от злобы, своим челядинцам.

Ее крик был бы исполнен, если бы народ не уважал этого посадника, не раз доказывавшего ревностную приверженность к отечеству.

Марфа, увидя, что слова ее не оказывают действия, умолкла.

Замолчал и Кирилл.

— Что нам теперь делать и с чего начать? — спросил тысяцкий Есипов.

Феофил, сидевший до сих пор с поникшею головою, поднял ее и проговорил:

— Сами виноваты вы; великий князь вправе обрушить на головы ваши мстящую десницу свою; смиритесь и дастся вам отпущение вины.

— Нет, владыко, твое дело молиться о нас, а не останавливать оружие наше, — возразили ему. — Иоанн ненасытен, и меч его голо-

ден, да москвитяне зачванились уж больно: мы ли не мы ли! Кто устоит против нас? Посмотрим: чья возьмет. Мы сами охотники до вражеской крови! Если не станем долго драться, то отвыкнем и мечом владеть.

Более благоразумные и рассудительные говорили:

— Словами и комара не убьете! Где нам взять народа против сплошной московской рати? Разве из снега накопаем его? У московского князя больше людей, чем у нас стрел. На него нам идти все равно, что безногому лезть за гнездом орлиным. Лучше поклониться ему пониже.

— Да он и сожнет ваши головы, как снопья снимет! Кланяться ему все равно, что вкладывать в волчью пасть пальцы! Лучше же с него шапки скинуть! — кричал народ, подстрекаемый клеветами Марфы, и перекричал разумных.

Запись московскую истоптали ногами.

По сборе голосов большинство оказалось за войну.

Тотчас начались быстрые приготовления. Марфа торжествовала.

Народ вооружался, поголовные дружины набирались из разночинщины: плотников, гончаров и других ремесленников одевали в доспехи волею и неволею и выставляли на стены.

Чужеземцам, промышляющим торговлею в городе, дозволяли выехать. И потянулись обозы во все ворота городские с товарами во Псков; но многие остались на старых гнездах, надеясь на милосердие Иоанна.

Река Волхов запрудилась многочисленными судами, с развевающимися цветными флагами, — ими хотели загородить реку, — и по берегам ее вытянулись две высокие деревянные стены, за которыми и на которых делали укрепления.

Весь город день и ночь был на ногах: рыли рвы и проводили валы около крепостей и острожек; расставляли по ним бдительные караулы; пробовали острия своих мечей на головах подозрительных граждан и, наконец, выбрав главным воеводою князя Гребенку-Шуйского, клали руки на окровавленные мечи и крестились на соборную церковь святой Софии, произнося страшные клятвы быть

единодушными защитниками своей отчизны.

В списке жертв, обреченных на смерть, имя посадника Кирилла стояло первым, а потому друзья его упростили разобиженного и неговорчивого старика, соединясь с другими, недовольными правлением, выбраться из Новгорода и явиться к Иоанну, что, как мы видели, он и сделал.

Архиепископ Феофил, с священниками семи церквей и с прочими сановными мужами, поехали на поклон и просьбу к великому князю по общему приговору народа, но когда посольство это вернулось назад без успеха, волнения в городе еще более усилились.

XVII

Ворон ворону глаза не выклюет

Вокружавших замок Гельмст лесах разъезжали рейтары фон-Ферзена, наблюдая за появлением русских дружинников.

Вечерело.

Рейтары, перед возвращением своим в замок, расположились отдохнуть на поляне, граничащей с небольшой, но глубокой, уже начинающей мерзнуть рекой.

Начальствовал над рейтарами знакомый нам кривой Гримм.

Невдалеке от прочих сел он на голую скалу, глядевшую в воду.

На скале противоположной горы все более и более сгущались вечерние краски. Наступила та невозмутимая тишина природы, спутница ночи, которая на таких негодяев, как Гримм, производит гнетущее впечатление, давая мир и отраду людям лишь с чистым сердцем и спокойной совестью.

Черные думы витали над головой привратника замка Гельмст: надо было скоро приво-

дить, так или иначе, в исполнение свои гнусные замыслы.

Вдруг до его ушей донесся подозрительный шорох.

Гримм оглянулся пугливо, как оглядываются только преступники. Какая-то черная тень кралась между ним и отдохавшими рейтарами, вот она ближе, это человек, он крадется и вдруг останавливается против него.

— Кто идет? — крикнул среди тишины сторожевой рейтар и прицелился в пришельца.

Этот крик освободил душу Гримма от обуявшего было его панического страха — как все негодяи, он был трусом.

Он быстро вскочил и спустился к незнакомцу. Глаза последнего блестели зеленым огнем среди ночного мрака.

Гримм невольно отступил.

— Кто идет?.. Стой! Ни с места! — раздались крики, и несколько человек с угрожающим видом бросились на пришельца.

— Русский, но не враг вам, — отвечал незнакомец.

— А! Вот кстати... это соглядатай... Видно, шея у него соскучилась по петле, коли сам су-

нулся в наши руки, — закричали рейтары.

— Нет, прежде допросим, выпытаем, вымучим у него признание: далеко ли земляки его, сколько их, на кого они думают напасть, — прервал Гримм.

— Ну, говори же все начистоту, русский баран, а то сразу душу вышибем, — продолжал он, схватив незнакомца за грудь и тряся изо всей силы.

— Кто бы вы ни были, дворяне Божьи, благородные рыцари ливонские или их верные слуги, выслушайте меня терпеливо. Я сам пришел отдаться вам в руки, за что же вы озорничаете?

— Вон еще кто-то скачет! Загородите дорогу, снимите его с лошади копьем. Двое в ряд протянитесь цепью! Сам попадетсЯ в силки! Только этот, кажется, не хочет сам отдаться в наши руки, — распорядился Гримм.

Не успел он договорить последние слова, как ловкий всадник успел уже увернуться от брошенного в него метательного копья и так сильно ударил напавшего на него рейтара тупым концом своего копья, что тот упал навзничь и лежал неподвижно, так как железные

доспехи мешали ему подняться.

— Стой! Стой! Разве вы не видите, что это наш? — закричал торопливо Гримм на своих, которые, прикрывшись щитами, начали было наступать на отважного всадника.

— Кой черт, наяву или во сне я вижу вас, благородный рыцарь? Поднимите наличник, чтобы я более уверился. По осанке, вооружению и сильной руке я узнал вас: еще одна минута — и не досчитались бы многих из защитников моего господина.

— Не тебе, кривому сычу, с подобными тебе бродягами мочить разбойничьи мечи рыцарской кровью, — сказал гордо всадник, поднимая наличник своего шлема, и луч луны, выглянувший из-за облака, отразился на его блестящих латах и мужественном лице.

Рейтары узнали Бернгарда.

— Не гневайтесь, благородный рыцарь, что кривой сыч узнал прямого, — язвительно заметил Гримм.

— Не прогневайся и ты, если кстати будешь немой. Жаль только, что язык твой еще надобен мне. Не видал ли ты Гритлиха?

— Когда?

— Конечно, не вчера... Тогда еще ты был недалеко от него и твое ядовитое дыхание жгло благородного юношу, но теперь, недавно, не нагоняли ли вы его в окрестностях замка? Смотри, продажная душа, говори прямо. Не сложили ли вы труп его уже в ближний овраг, или мой меч допросит тебя лучше меня.

Властный голос рассерженного рыцаря невольно подействовал на трусливого, но хитрого Гримма.

Он было оробел, то тотчас же сообразил, как искуснее отделаться от допроса. Он понял, что Бернгард разыскивает Гритлиха, чтобы под своей охраной препроводить его назад в замок. Это не входило в расчеты подлого слуги не менее подлого господина.

— Ни теперь, ни недавно не видал, но утром, когда мы только что выехали дозорить русских, он попался мне навстречу, и когда я спросил его о причине его удаления из замка, он сказал, что это делается им по приказанию нашего господина, поэтому я и не посмел остановить его, — без запинки соврал Гримм. — Однако, — продолжал он, понизив

голос до шепота, — он признался мне, что идет разыскивать своих земляков. Какими запорами не замыкай коня, он все рвется на свободу, а только пусти его разыграться — и хозяина не пощадит: копыт своих не пожалует на него... Поверьте, благородный рыцарь, теперь его не догонишь, да и не стоит он вашего беспокойства.

Бернгард молчал, пристально глядя на Гримма, как бы взвешивая каждое его слово.

— Воротитесь-ка, — с ударением добавил последний, — вы уже помыкались, довольно порыскали день-деньской, а моя молодая госпожа, чай, соскучилась без вас... Поезжайте-ка утешить ее.

При этих словах несчастный отвергнутый юноша вздрогнул, судорожно стиснув рукоять своего меча и тихо произнес:

— Ты кривишь своими устами.

Гримм уже готов был разразиться страшными клятвами, как вдруг пойманный незнакомец, смекнув, что ему надо поддержать начальника рейтаров, заговорил:

— Точно, я сам видел нового пришельца в нашу службу из замка Гельмст...

— Это кто? — прервал его Бернгард.

— Это пленник русский, мы допрашиваем его, — отвечал Гримм.

— Ты сам пленник золота, и, я думаю, нашел уже выкуп его жизни в его карманах. Допросите-ка его при мне, теперь же! — повелительно сказал рыцарь.

— Я уже слышал, что вам нужно, — отвечал захваченный. — Если не поверите, что я охотно предаюсь вам, то обезоружьте меня, вот мой меч, — говорил он, срывая его с цепи и бросая под ноги лошади Бернгарда. — А вот еще и нож, — продолжал он, вытаскивая из-под полы своего распахнутого кожуха длинный двуострый нож с четверосторонним клинком. — Им не давал я никогда промаха и сколько жизней повыхватил у врагов своих — не перечесть. Теперь я весь наголо.

— А что это мотается у тебя? — спросил один рейтар, показывая на грудь.

— Это ладанка с зельем, — ответил пленник. — А почему теперь я весь отдаюсь вам, когда узнаете, то еще более уверитесь во мне. Собирайтесь большой дружиной, я поведу вас на земляков. Теперь у них дело в самом разга-

ре, берут они наповал замки ваши, кормят ими русский огонь; а замок Гельмст у них всегда, как бельмо на глазу, только и речей про него. Спешите, разговаривать некогда. Собирайтесь скорей, да приударим... Я говорю, что поведу вас прямо на них, или же срубите мне с плеч голову.

— А где русские? — спросил его Бернгард.

— За рекой, влево, недалеко от леса...

— Знаю, знаю... Все ли ты кончил?

— Все, как перед Богом, все... Ничего не утаил...

— Довольно. Теперь ты более не нужен. Прицепите его к осине, или к нему самому привесьте камень потяжелее: ходче пойдет в воду, не запнется... Повторяю, теперь он более ни на что не нужен, как лук без тетивы. Кто изменил своим, тому ничего не стоит продать и нас за что ни попало...

Сказав это, Бернгард поворотил коня своего, пришпорил его и быстро помчался обратно, по направлению к замку.

— Снимай-ка ладанку свою. Вот это будет повыгоднее: дольше не износится, — сказал рейтар Штейн пленнику, подходя к нему с уз-

ловатой веревкой, на которой был прицеплен огромный тяжелый камень.

Незнакомец дико и злобно сверкнул глазами.

Гримм попробовал было вступить за него, помня его услугу перед рыцарем, но рейтары не соглашались оставить в живых пленника; только случай неожиданно избавил его от смерти.

Вдруг ближний лес и вся поляна осветились ярким заревом.

— Это наши работают, сами на себя накликают, — проговорил незнакомец.

Зарево озарило его лицо.

— Ах, это ты, Павел! — вдруг вскричал Штейн. — Узнаешь ли ты меня, которого проворством своим и сметливостью избавил от русских у реки. Товарищи, а мы хотели убить его! Да я бы отсек себе руку, если бы она поднялась на него!

Вместо смерти, пленнику предложили принять участие в общей попойке, во время которой он особенно сошелся с Гриммом.

Затем все потянулись к замку.

Их путь освещало все увеличивающееся

зареву.

XVIII

Спасение Гритлиха

Зареву мало-помалу потухало. Небо очистилось от облаков. Ночь вступила в свои права. Луна и звезды ярко заблистали на темно-синем небосклоне.

По вьющейся зимней лесной дорожке шел усталый Гритлих. Уже более суток бродил он по лесу без пищи и питья, измученный, изнуренный, но не голод, не жажда томили его, а разлука с Эммой. Он был одинок: только луна провожала его, да верхушки деревьев, мерно качаясь, как бы приветствовали его при встрече.

Кругом царствовала томительная тишина, нарушаемая лишь однообразным журчанием горного ручья, пробиравшегося между скал, и гулом ветра.

Наконец, Гритлих остановился, видимо не будучи в состоянии идти далее, выбрал себе отлогое место, окутался суровым плащом своим и заснул, убаюканный однообразными

звуками природы.

Вскоре в лесу послушался топот копыт скачущих лошадей и смешанный людской говор, но крепко заснувший Гритлих, к счастью, не слышал ничего.

Луна между тем скрылась за надвинувшеюся на нее тучею, и пушистый снег хлопьями повалил на землю. Быстро засыпал он спавшего Гритлиха, так что его едва можно было заметить на земле.

Прибывшие всадники, плутовавшие долго по лесу, расположились отдохнуть невдалеке от того места, где сном непорочной юности покоился преследуемый ими юноша.

Они сняли с голов своих грузные шлемы, покрытые снегом, стряхнули свои латы и оружие и, собравшись в кучу, принялись опоражнивать свои фляги, ругая на чем свет стоит своего господина.

— Куда это черт спрятал русского бродягу? — заметил один из рейтаров Доннершварца.

— Туда, — отвечал другой, — где нам не найти его. Да и зачем искать, назад не воротили бы. Прихлопнуть бы его на месте, как

комара, вот и все тут! И руки не обмочили бы в крови.

— Фриц никогда не промахнется. Он и иглу уколёт, и ножны зарежет, — промолвил третий.

— Да ты и сам живая петля! — возразил Фриц. — Для тебя убить человека, все равно что орех щелкнуть.

— Что тут считается, — сказал четвертый. — Никто из нашей братии, ливонцев, сколько ни колотил врагов, оскомины на руках не набил. Но меня что-то все сильнее и сильнее пробирает дрожь. Разведем-ка огонь, веселее пить будет.

— Ах ты, зяблик! — заметил, смеясь, Фриц. — Завернись в волчью шкуру, да глотни еще из фляги. Душа мера, пей сколько хочешь! Ведь мы сегодня немало отпили вина, которое везли в замок гроссмейстера для угощения его гостей.

— Нет, пить вино в потемках, что проку, — сказал прозябший и чиркнул по острию своего меча кремнем; искры посыпались на подставленный трут.

Прочие побрели отрывать из-под снега

хворост.

Костер вскоре запылал.

— Карл правду сказал, — слышалось замечание, — при огне пить поваднее. Ведь как душа-то разгорелась, теперь бы и рука славно бы расходилась.

— Подбавьте-ка, подбавьте! — слышались возгласы.

— Чего: вина из фляги, или хвороста в огонь?

— И того и другого...

Огонь на самом деле стал было потухать, и мокрый хворост только потрескивал и дымился. Хворосту кое-как нашли и подбросили. Попойка продолжалась.

— Товарищи, хотите я разниму эту колоду на дрова! — воскликнул заплетающимся языком Фриц и указал рукой на спавшего, засыпанного снегом Гритлиха.

— Сам ты колода, — заметил Карл. — Это, должно быть, зарезанный человек.

— Врете, вы оба пьяны, стало быть, не разглядите, — заметил один из рейтаров, сам на силу держась на ногах. — Это не колода и не зарезанный человек, а зверь. Дайте-ка я по-

пробую его копьем; коли подаст голос, мы узнаем, что это такое.

Копье сверкнуло, но владевший им, когда стал направлять свой удар, потерял равновесие и упал, при громком хохоте товарищей.

«И волос с головы твоей не погибнет без Его произволения», — говорит Святое Писание.

Это исполнилось над беззащитным юношей.

По лесу вдруг раздались призывные возгласы.

— Сюда, сюда, братцы! Сметайте с них головы мечами, как вениками.

Пьяные рейтары были застигнуты врасплох.

Русские, тоже дозорившие своих врагов, заметили огонь и, отправившись на него, добрались до пирующих, рассмотрели их число, медленно подкрались к ним, захватили почти покинутое ими оружие и, быстро окруживши их со всех сторон, начали кровавую сечу, заглушая шумом ударов вопли умирающих о пощаде.

В те суровые времена битвы были жесто-

ки — брать в плен не было в обычае.

Скоро снег, орошенный кровью, заалел и земля покрылась трупами.

— Четверо наших и все десять немчинов пали! — сказал один русский воин Ивану Пропалому, рассматривая тела убитых.

— А вот еще живой! — добавил подошедший другой воин, таща за собою полуживого рейтара. — Он хотел было улизнуть, да я зашиб его.

С этими словами он приставил меч к груди рейтара.

Иван остановил его:

— Оставь его, надо его допросить, а то мы и то сгоряча всех перебили, надо хоть бы двоих оставить в живых для допроса порознь.

— Дело, дело! Ладно, ладно! — поддержали Ивана остальные дружинники. — Ну, немчин проклятый, рассказывай же, куда вы путь держали и откуда? Тогда мы тебя отпустим, а не то пришибем живо.

Несмотря на угрозы, они насилу могли допытаться у ослабленного от ран пленника, что он послан был владетельным рыцарем Доннершварцем в погоню за бежавшим из

замка Гельмст русским, что старый гроссмейстер фон-Фер-зен готов уже напасть на них и отомстить им за соседей; что он уже соединился со всеми вассалами своими и соседями и что число их велико.

— А много ли их? — спросил один дружинник.

— Стыдись спрашивать, много ли числом врагов! — возразил Иван. — Мы не привыкли считать их. Узнай только где они! Теперь не трогайте же, отпустите его, — продолжал он. — Сохраните новгородское слово свято. Ведь он далеко не уйдет. Прощай, приятель, — обратился он к пленнику. — Если увидишь своих, то кланяйся им и скажи, что мы рады гостям и что у нас есть чем угостить их; да не прогневались бы тогда, когда мы незваными гостями нагрянем к ним. В угоду или не в угоду, а рассчитывайся чем попало.

Пропалый отошел.

— Однако огонь-то надобно погасить, а то мы можем преждевременно накликать на себя кого-нибудь, — заметили оставшиеся дружинники и кинули на догоревший костер раненого.

Через несколько минут он умер в судорожных корчах.

Захватив оружие и одежды вражеские и погнав перед собой коней их, веселой толпой тронулись русские в свой лагерь делить добычу.

Месяц уже побледнел при наступлении утра и, тусклый, отразившись в воде, колыхался в ней, как одинокая лодочка. Снежные хлопья налипли на ветвях деревьев, и широкое серебряное поле сквозь чащу леса открылось взору обширной панорамой. Заря играла уже на востоке бледно-розовыми облаками, и снежинки еще кое-где порхали и кружились в воздухе белыми мотыльками.

Гритлих, или лучше отныне будем называть его настоящим русским именем — Григорий, наконец проснулся и открыл глаза. Он не слышал почти ничего происходившего вокруг него в эту ночь. Усталый до крайнего истощения сил, он спал как убитый. Звуки голосов и оружия, правда, отдавались в его ушах, но как бы сквозь какую-то неясную, тяжелую дремоту, и не могли нарушить его крепкий сон.

Открыв глаза, он огляделся кругом и с удивлением увидал груды мертвых тел, обломки оружия и вившийся к небесам дым потухшего костра и, наконец, свою одежду, всю опущенную снегом.

Он вскоре прозяб, поспешно встал, отряхнулся и не сразу вспомнил, где он и что означает все его окружавшее.

Мысль об Эмме снова появилась в его уме и снова отуманила его. Он понял, впрочем, что каким-то чудом избег опасности, и благоговейно опустился на колени, забывшись на несколько минут в теплой благодарственной молитве Всеблагому Творцу.

Окончив молитву, он пошел далее и, выбравшись из лесу, скоро оставил его далеко за собой.

ХІХ

Среди земляков

Зима соткала одежду природы из снега, как из белой кисеи, хлопья его легли на землю тонкими кружевами, солнце увенчивало небо, алмазные блески снежинок засверкали то белыми, то рубиновыми искорками. Лиловые облака окаймляли небо, а на западе свивались шатром.

Картина полной зимы впервые в этом году развертывалась перед взором: оголенные деревья, подернутые серебристым инеем, блистали своей печальной красотой. Особенно сосны и рогатые ели, так величаво и гордо раскинувшие свои густые ветви, выделяясь среди белизны снега своим черно-сизым цветом, и не шевелясь, казалось, дремали вместе со всею природою.

Кругом царила тишина. Григорию на пути попадались только белогрудые сороки, да вороны, привольно разгуливавшие по первой пороше, но спугнутые его приближением, они с диким карканьем взвивались на воздух

и рябили вдали, мелькая своими крыльями.

Случайно Григорий пошел прямо на русский лагерь.

Чурчило с Димитрием, услыхав от Пропалого о намерении ливонцев напасть на них, заторопили дружинников идти в поход и, таким образом, предупредить врагов.

Усиленная работа кипела в лагере.

Иван Пропалый первый заметил приближающегося Григория и с изумлением воскликнул:

— Это кто еще выступает прямо на меня?

— На ловца и зверь бежит! — сказал Чурчило, подходя к нему с Димитрием.

Несколько дружинников бросились было на незваного гостя, но твердая его поступь, смелый, добродушный вид, а главное, наказ Чурчилы не трогаться с места, остановил их.

Григорий все приближался.

Каким трепетом забилося его сердце, когда он разглядел своих земляков, узнав их по одежде и вооружению, которые еще со времени раннего детства запечатлелись в его памяти. Шишаки, кольчуги, угловатые кистени, в кружок обстриженные волосы, русский язык,

еще памятный ему, — все это было перед ним.

Он не мог дойти до Чурчилы, Ивана и Димитрия, молча ожидавших его. Чувство сладкое, невыразимое, никогда им неизведанное, наполнило его сердце, ноги его подкосились, он упал на колени, протянул руки по направлению к лагерю и зарыдал.

«Вот кого искали ливонцы! — подумал про себя Чурчило, Иван и Димитрий. — Под щитом неба прошел он невредимо сквозь тысячу смертей! Это русский, это брат, это земляк наш!»

Они подошли к нему и, не спрашивая его о роде и племени, открыли ему свои объятия.

Вся дружина приняла его с выражением радостного восторга.

Когда желанный гость отдохнул, утолил свой голод и жажду в кругу близких его сердцу людей, при звуках чоканья заздравных чар и братин, все сдвинулось вокруг него, и он рассказал им, насколько мог, о житье-бытье своем в чужой ливонской земле, упомянул об Эмме и умолял спасти ее от злых ухищрений Доннершварца и его сообщников.

Чурчило и многие тотчас догадались, кто

был этот бесприютный юноша, но не сказали ему ничего, чтобы не прибавить к свежим ранам новых.

Они обещали ему во что бы то ни стало добыть мечом головы заклятых врагов его и Эммы.

— Куда же ты денешь свою возлюбленную, когда мы выхватим ее из замка как самую ценную добычу? — спросил его Чурчило.

— Куда?.. Отвернусь от нее и отдам ее возлюбленному! — отвечал Григорий.

— Как бы не так! — возразил Иван. — Это не по-моему. По-моему, так не доставайся никому: расколол бы ей череп, да и отдал бы ему.

— Вестимо, на что же и добывать ее?

— Кровь да золото, вот что тянет нас на битву, — слышалось замечание.

Григорий молчал, но взгляд его был красноречивее слов.

— Хочешь ли ты идти туда вместе с нами? — вдруг спросил его Чурчило после некоторого раздумья.

— Жизнь и смерть готов я делить с тобой... Но я изгнанник...

— Что же? Ведь мы не в гости пойдём. Ты будешь только охранять девицу и отражать удары, направляемые на нее... Тебе жизнь постыла, мне также, — выразительно добавил Чурчило. — А кто за чем пойдёт, тот то и найдёт. Понимаешь ты меня?

— Да что его спрашивать? Он наш, на Руси родился, стало быть, должен любить с малолетства меч и копье, а не бабье веретено. Разве иная земля охладила его ретивое, — с видимым неудовольствием заметил Димитрий.

— Братцы, — отвечал Григорий, схватив их за руки, — если бы я был ливонец и вы бы пришли со мной вести расчеты оружием, либо бы было мне потешиться молодецкою забавою. Тогда, Бог весть, чья сторона перетянула бы! Или, к примеру сказать, когда бы я с вами давно был однополчанином и мы пришли бы вместе сюда на врагов, — не хвалюсь, а увидали бы вы сами, знаю ли я попятную.

Глаза его одушевились мужеством, загорелись.

— Гляньте-ка, братцы, — воскликнул радостно Пропалый, указывая на Григория, — так и пышет весь отвагой! Я готов спорить на

что угодно, что не кровь, а огонь льется в его жилах...

— Я не договорил еще, — продолжал Григорий. — Чужая земля воспитала круглую сироту и была его родиной, чужие люди были ему своими, и, подумайте сами, должен ли он окропить эту землю и кормильцев своих собственной их кровью? Не лучше ли мне на нее пролить свою, неблагодарную? Разве вы, новгородцы, выродились из человечества, что не слушаете голоса сердца?

Многие были тронуты его речью и молчали, внутренне соглашаясь с ним, но со стороны некоторых послышался громкий ропот.

— Брат Григорий, — начал Чурчило после продолжительной паузы. — Всякий, кто чувствует в себе искру чего-то... небесного... как бы это пояснить... я не красноглаголист, я прямо скажу: кто называется человеком, у того и тут должно быть человеческое.

Он указал на сердце.

— Мы понимает тебя! — продолжал он. — У нас тут кроется и любовь, и отвага, и жалость, и сердоболие, а кто не чувствует в себе этого, тот пусть идет шататься по диким де-

брям и лесам со злыми зверями. Ты наш! Мы освобождаем и разрешаем тебя от битвы с твоими кормильцами и даже запрещаем тебе мощным заклятием. Пойдем с нами, но обнажай меч только тогда, когда твою девицу обидит кто словом или делом.

Он крепко сжал руку Григория.

— Я ваш! — вскричал последний, обнимая Чурчилу.

— Ну, живо! Радуйтесь, товарищи! Пойдем на коней! Настало времечко на смертное раздолье! — отдал приказ Чурчило.

Не прошло и минуты, как все уже были на конях.

— Не лучше ли напасть ночью, — заметил Димитрий, — а днем подождать в засаде?

— Нет, не утаить и не схоронить славы своей под мраком ночи. — Пока дойдем, пока что еще будет, сумерки и спустятся, — возразил ему Чурчило.

— А где же Пропалый? — спросил он. — Да еще кой-кто из наших дружинников пропали Бог весть куда?..

Все были уже в сборе, но Ивана и еще некоторых из дружинников не было. Никто

не мог придумать, куда они могли отшатнуться от своих.

Вдруг увидали они небольшую толпу, скакавшую прямо на них.

Сначала подумали, что это был Пропалый с товарищами, но, взглядевшись, увидали, что это были ливонские рейтары, неприязненно направлявшие на них свои копья.

Русские бросились им навстречу, но вдруг услышали громкий хохот.

Враги подняли свои наличники и русские отступили.

Это был Иван с дружинниками, перенаряженные в платье и доспехи ливонские, отбитые у них в ночную схватку.

— Причудник... ишь, что придумал... Теперь ты нам чужак.

— Что, не узнали... это я и хотел узнать. Теперь смело пойду прежде вас в замок Гельмст... там привольно будет.

— Зачем же ты хочешь идти прежде нас? Смотри, подстрелят!

— Пойдем к живым на поминки... а вам до этого дела нет... Дождитесь, когда я посвечу вам с башен замка, и неситесь скорей докан-

чивать... да помните еще слово «булат».

Сказав это, Пропалый с товарищами повернули коней и ускакали.

— Вперед и мы, товарищи! — крикнул Чурчило, вонзая шпоры в крутые бока своего коня.

Было уже раннее утро. Солнце рассыпало свои яркие, но холодные лучи и играло ими на граненых копьях русских дружинников.

Дружина сомкнулась и тронулась.

XX

Ряженые в замке

Слова Чурчилы сбылись. Уже смеркалось, когда отважные русские дружинники, переряженные рыцарями, приблизились к замку Гельмст.

Близ замка господствовало необычайное оживление; около подъемного моста несколько рыцарских отрядов ожидало спуска.

— Люблю поля вражеские! — воскликнул Пропалый. — Ну, братцы, чур, теперь слушать чутко, глядеть зорко... Если нас не узнают, то мы в одно ухо влезем, а в другое вылезем из

замка, а если дело пойдет наоборот, зададут нам передрагу, хорошо если убьют, а то засадят живых в холодильник.

Он указал рукой на проруби окрестных озер.

— Что делать?.. На то пошли!.. Сами вызвались, — слышались ответы.

— Авось, живые в руки не дадимся! — продолжал Иван. — Нас здесь одиннадцать, стоим часок стеною непрошибною.

— Вестимо! Однако у них, собак, стены-то несокрушимы: ни меч, ни огонь не возьмет их! — заметил один из дружинников.

— И соседей собралось на подмогу им число немалое... Вишь каким гоголем разъезжает один! Должно, их наибольший! — заметил другой, указывая на одного плечистого рыцаря, который осматривал стены, галопируя около них на статном иноходце.

— Ну, с Богом! Мать Пресвятая Богородица и заступница наша святая София, помоги нам, многогрешным! — с благоговением произнес Иван Пропалый, въезжая в толпу ожидавших рейтаров.

— Здорово, товарищи! — приветствовали

последние новоприбывших. — Не видали ли вы русских? Говорят, будто они бежали из нашей земли. Знать, солоно, или вьюжно пришлось им. А впрочем, кто их знает, где они разбойничают.

— Как не видать! — отвечал Иван. — Мы немало гнались за ними и общипали у них кое-что из награбленной добычи.

При этих словах Пропалый вынул из-за рукавника серебряную опояску с крупными алмазами, которую он еще ранее отнял у одного рыцаря при нападении на его замок, показал ее своему собеседнику и спрятал снова.

— Хоть и темно, но я и впотьмах всегда увижу хорошую вещь, — произнес рейтар с блеснувшими от зависти глазами.

— А ты от кого же слышал, что русские бежали? — спросил Иван.

— Мы захватили их прежде, да не добились до сих пор никакого толка, а вчера сам пришел к нам какой-то Павел, бывший при их начальнике телохранителем, начальник-то его, видишь, чем-то обидел, ну, он и бежал к нам и взялся навести нас на русское гнездо. Объяснил по приметам, да по заруб-

кам деревьев, где оно находится. Наши смельчаки ездили разузнавать, правда ли это, и недавно возвратились и сказывали, что и впрямь там были русские. Они видели на том месте изломанное оружие их, а от большого костра вился еще дымок, так что надо полагать, что они недавно покинули это место, — отвечал рейтар. — Видно, струсили, узнали, пройдохи, что мы на них поднялись, да и всполошились.

— А Павла этого, что же вы, чай, притянули за шею?..

— Нет, за что же? Он в чести теперь у нас. Завтра, чем свет, выступят отыскивать беглецов... Слышишь, какой говор в замке? Все уже в сборе. Ныне последнюю ночь проведем повеселей, да и в поход.

Раздался звук рога, возвещавший спуск моста. Цепи загрохотали, и русские смельчаки вместе с ливонцами благополучно въехали с опущенными забралами в широко отворенные ворота замка Гельмст.

На дворе замка стоял неумолкаемый говор, рейтары ходили толпами: кто держал лошадиную узду и побрякивал ею, кто вел поить

лошадь, или уже упившегося товарища на успокоение.

Ржание коней, бряцание оружия, рассказы, окрики, споры, хохот и брань — все сливалось в странный своеобразный гул.

Иван Пропалый с товарищами поставили своих лошадей в общие стойла и, незаподозренные никем, пошли осматривать замок.

На задней его части, выдавшейся острым утесом в глубокий овраг, огибавший стену, из которой камни от действия времени часто открывались и падали в глубину, находилось отверстие, из которого дружинники приметили вышедшего человека, окутанного с ног до головы широким плащом, несшего что-то подмышкою; за ним вскоре вышли еще несколько человек, которые вместе с первым прокрались, как тати, вдоль стены.

Иван ощупал это отверстие и нашел в нем железное замерзлое кольцо, вбитое в медную доску. Он насилу приподнял ее и ощупал чугунные ступени, ведущие вниз, хотел только что спуститься, но остановился, услышав сзади голоса, и захлопнул доску.

Притаившись вместе с товарищами в рас-

целине стены, они стали наблюдать.

Черные тени возвращались, что-то бережно неся на руках, передний поднял доску, и все они вместе с ношей на глазах дружинников опустились вниз и захлопнули за собой творило.

«Что за дьявольщина!» — подумали с недоумением дружинники.

— Это дело надо разузнать, тут что-то неладно, — решил Пропалый.

В обширной приемной комнате — рыцарской зале фон-Ферзена — происходило между тем многочисленное собрание.

Стены комнаты были увешаны дорогими казылбатскими коврами, на них висели огромные рыцарские доспехи в полном наборе, производившие на первый взгляд впечатление повешенных рыцарей.

В одном углу стоял стол, покрытый медвежьей полостью, на котором лежал большой гроссмейстерский жезл, обвитый широкою золотою тесьмою.

В другом углу навалены были горою шлемы, а в противоположном от него углу пылал огромный камин, один освещавший обшир-

ную комнату и сидевших за большим, стоявшим посредине столом рыцарей.

Стол был весь уставлен вином и грубою закускою: соленою рыбою, копчеными окороками и черствым хлебом.

Попойка была в полном разгаре и шла уже к концу, что было заметно по опустевшим флягам и блюдам, а также по раскрасневшимся лицам рыцарей.

Фон-Ферзен сидел среди своих гостей и союзников молча, с опущенною долу головой; невдалеке от него находился, тоже не принимавший участия в пиршестве, Бернгард.

— Ну, славно попиrowали, так что не осталось теперь чем мух накормить! — сказал один рыцарь и встал из-за стола.

За ним последовали и другие.

— Да что это гроссмейстер повесил голову, как дохлая лошадь? Неужели он так сильно запуган кольчужниками, что и нас, своих союзников, ни во что не ставит? — спросил тихо один рыцарь другого.

— Нет, видишь, он тоскует о пропаже дочери, которая, как рассказывает Доннершварц, бежала с его приемышем-русским в

его отчизну.

Спрашивавший рыцарь замолчал, как бы показывая вид, что это до него не касается, а третий, вмешавшийся в разговор, заметил:

— Только-то? А я думал, что уж не ограбили ли его русские?

— Мундшенк, — услышался пьяный голос из-за стола. — Подайте мне еще выпить за долголетнее существование храбрых меченосцев во все грядущие века.

На этот призыв откликнулись многие. На столе появились принесенные слугами новые фляги и даже бочонки: пьянство началось с новою силою, и вскоре многие из храбрых меченосцев позорно валялись под столом.

Другие, более крепкие, шатаясь из стороны в стороны, бродили по залам, изрыгая проклятия на русских и угрожая им неминуемой гибелью от славных рыцарских мечей.

Убитый горем фон-Ферзен и Бернгард не могли удержаться, чтобы порою не бросить презрительных взглядов на этих, окружавших их, бесстрашных победителей фляг и бочонков.

XXI

За славу, за Эмму!

В столовую вошел Доннершварц и, окинув своими посоловевшими глазами присутствующих, подошел к фон-Ферзену.

— Я всем распорядился, — заговорил он сильным басом. — Не бойтесь, мы настигнем их завтра и вдоволь насытим наши мечи русскою кровью. О, только попадись мне Гритлих, я истопчу его конем и живого вобью в землю. Дайте руку вашу, Ферзен! Эмма будет моею, или же пусть сам черт сгребет меня в свои лапы.

Фон-Ферзен, как бы пробужденный надеждой на отмщение, воскликнул, сверкая глазами:

— О, только попадись он мне; я сам собственными руками разорву его на части. Друзья, верные союзники мои, — обратился он к присутствующим, — я разделяю между вами все мои владения и богатства, добудьте мне Эмму, мою дочь, или проклятого Гритлиха... О, если бы обоих вместе! Я даже не знаю, что

лучше!.. Эмму я люблю всем сердцем и без нее не утешусь, но его... его мне хочется посмотреть умирающим в предсмертных корчах, когда я сам буду по капле выпускать его подлую кровь... О, какое наслаждение! Эмму, повторяю, получит храбрейший! Отметите же за славу, за Эмму, за меня...

— За славу, за Эмму, за гроссмейстера! — раздались крики, и все повскакали с своих мест, неистово махая обнаженными мечами.

Доннершварц с злобной, язвительной улыбкой посмотрел на Бернгарда. Последний вспыхнул, подошел к фон-Ферзену и сказал, обращаясь ко всем:

— Выслушайте меня! Они любят друг друга, разлучить их — значит убить обоих... Мое мнение: настичь русских, дать битву, захватить Эмму и Гритлиха и...

Бернгард остановился, ему, видно, тяжело было окончить начатую фразу.

— И что же с ними делать? — слышался вопрос.

— И соединить их! — твердо произнес благородный юноша.

Взгляд фон-Ферзена дико блеснул.

Остальные даже отступили от Бернгарда в изумлении.

— И соединить их! — повторил тот, как бы наслаждаясь тем сердечным мучением, которое доставляла ему эта фраза.

— Замолчи, или я сочту тебя злейшим врагом моим! — сдавленным голосом сказал ему фон-Ферзен. — Он всего лишил меня, а ты что предлагаешь мне!

— Бернгард насмехается над фон-Ферзеном! — перешептывались рыцари между собой.

— Я бы вырвал с корнем язык его, чтобы он не оскорблял благородного рыцарства! О, я бы сумел научить его уважать и седины, — заговорил было вслух Доннершварц.

Бернгард не дал ему окончить угроз, бросился на него с мечом, но, вдруг, одумавшись, откинул меч в сторону и, выхватив из камина полено, искусно увернулся от удара противника, вышиб меч из рук его и уже был готов нанести ему удар поленом по голове, но фон-Ферзен бросился между ним и Доннершварцем, да и прочие рыцари их разняли и разведали по углам.

После обоюдных угроз поссорившихся и громкого хохота рыцарей над Доннершварцем на тему, что его бьют поленом, как барана, ссора утихла и мир водворился.

Фон-Ферзен, ободренный перспективой мести, стал веселее и начал усиленно заливать свое горе вином.

Последнее развязало ему язык. Он начал мечтать вслух, как они завтра настигнут русских и потешат свои мечи и копья над вражескими телами.

— Пленник Павел рассказывал нам, что эти новгородцы — народ вольный, вечевой... Их щадить нечего. Они хотя и богаты, а выкуп от них не жди... разве только нового набега, — заметил один из рыцарей.

— Да, кстати, я вспомнил о пленниках — где они? — произнес фон-Ферзен.

— Петере, — обратился он к своему слуге, — вели их ввести сюда, сделаем последний допрос и пора с ними разделаться.

Петере вышел.

— А что нас остановит пуститься и дальше? Мы соберемся еще большим числом и нагрянем на Новгород. Государь Московии, по-

говаривают, сам хочет напасть на него. Тем лучше для нас: мы будем отгонять скот от города, отбивать обозы у москвитян, а если ворвемся в самый город, то сорвем колокол с веча, а вместо него повесим опорожненную флягу или старую туфлю гроссмейстера, пограбить, что только попадетя под руки, и вернемся домой запивать свою храбрость и делить добычу, — хвастался совершенно пьяный рыцарь, еле ворочая языком.

Его речь приветствовали аплодисментами, но один Бернгард усмехнулся и возразил:

— Что-то давно собираемся мы напасть на русских, но, к нашему стыду, до сих пор только беззаботно смотрим на зарево, которым они то и дело освещают наши земли... Уж куда нам пускаться вдаль... Государь Московии не любит шутить, он потрезвее нас, все говорят.

— Не верь, не верь, что говорят... Мы сами тебе не верим! — прервали его пьяные крики.

Бернгард обвел присутствующих презрительным взглядом и замолк.

Через несколько минут раздался звон цепей, и сторожа ввели в залу изнуренных рус-

ских пленников.

Их было шестеро, они были крепко скованы по рукам и ногам и, видимо, с трудом влачили свои тяжелые цепи.

Их выстроили в ряд перед сидевшим за столом фон-Ферзенем.

— Вы новгородцы? — спросил их последний.

— Новгородцы.

— А зачем пришли вы к нам?

— Умереть, или убить вас.

— Черт возьми, что тут выспрашивать? Скорей уничтожить это русское отродье! Неужели и этих откармливать на свою шею? — громко проговорил Доннершварц.

— Да, пора бы, мы вам не нужны! — отвечали хладнокровно пленники.

Фон-Ферзен, которому намек Доннершварца напомнил о Гритлихе и мести, яростно воскликнул:

— Да, конечно, затравим их нашими медведями, потешимся напоследок кровавым зрелищем.

— Не рыцарское это дело, фон-Ферзен, — громко запротестовал Бернгард, — я, по край-

ней мере, до последней капли крови буду защищать беззащитных.

Фон-Ферзен почти с ненавистью посмотрел на говорившего. В зале раздался недовольный ропот, но к чести рыцарей надо все-таки сказать, некоторые, хотя немногие, присоединились к мнению Бернгарда.

Не желая начинать раздора, фон-Ферзен сделал незаметный знак Доннершварцу.

Тот понял его, и на губах его заиграла злобная улыбка.

Пленников увели по приказанию хозяина, а за ними вышел из залы и Доннершварц.

Через несколько минут со двора замка донесся глухой короткий стон, другой — до шести раз.

Все догадались, что это значило.

Бернгард в ужасе пожал плечами.

Вздохнул и сам фон-Ферзен.

С самодовольной улыбкой вернулся вскоре в залу Доннершварц, весь обрызганный кровью, и спокойно осушил кубок, как бы забыв, какое страшное поручение он исполнил.

Раздался звон колокола, жалобным звуком раскатившийся по всему замку, означавший

полночь.

Камин погасал.

Немногие рыцари, еще державшиеся на ногах, собрались в кучу и стали обсуждать последние подробности предстоящей экспедиции и, чокнувшись, выпили еще и опрокинули свои кубки в знак окончания пира и заседания.

— За славу, за Эмму, за гроссмейстера! — раздавались крики.

— Куда же?.. На лошадей? — спросил фон-Ферзен, увидя, что многие расходятся.

— Нет, сперва в постели. Рог разбудит нас, — отвечали ему.

— Так до завтра.

— До утра...

Все разошлись. Фон-Ферзен ушел в свою спальню вместе с Доннершварцем.

Бернгард вышел из замка и прошел в парк.

Он сам не мог понять взволновавших его чувств, но ему хотелось и плакать, и молиться, а главное, быть одному...

XXII

В подземелье

Пока рыцари с усердием и отвагой, достойными лучшей цели, опустошали содержимое погребов фон-Ферзена, русские молодцы в рыцарских шкурах тоже не дремали.

— Братцы, — говорил товарищам Пропалый, стоя над загадочным творилом, на их глазах скрылась таинственная процессия, — мы взбирались на подоблачные горы и на зубчатые башни, но не платились жизнью за свое молодечество, почему теперь не попробывать нам счастья и не опуститься вниз, хотя бы в тартарары? Я, по крайней мере, думаю, что нам не найти удобнее места, где бы мы могли погреться вокруг разложенного огня, да, кроме того, мы разузнаем, кто эти полуночники. Лукавый их ведает, что у них на уме? Может, они для нас же готовят гибель!

— Мы готовы, идем хоть на край света! Веди нас хоть туда, куда и орел не нашивал добычи, где конец странствия облаков, мы за тобой всюду, — отвечали ему дружинники.

Осторожно подняли они чугунную доску и ощупью, один за другим начали спускаться в подземелье.

Чутко прислушиваясь на каждом шагу, они медленно спускались все ниже и ниже.

Кругом и внизу царила гробовая тишина.

Страшная сырость и спертый воздух затрудняли дыхание.

Наконец они почувствовали под ногами вместо камней сырую землю — лестница окончилась. В подземелье было совершенно темно. Вытянув перед собой руки, ощупывая мечами впереди себя, храбрецы двинулись среди окружавшего их могильного мрака.

Мечи рассекали только воздух.

Вскоре, впрочем, один из дружинников встретил своим мечом стену. Шедшие повернули вправо и увидали вдали слабое мерцание огонька.

Дружинники пошли на огонек, и скоро до них стали доноситься голоса людей.

При слабом освещении смоляного факела, который держал один из четырех находившихся в подземелье людей, наши храбрецы, приблизившись к ним, рассмотрели тяжелые

своды стен и толстые столбы, подпиравшие закопченный потолок.

За последними скрылись они, чтобы быть незамеченными до времени, и стали прислушиваться к разговору неизвестных. Одного из них, впрочем, они вскоре узнали по голосу.

Это был Павел.

— Ну, Гримм, теперь все кончено! — говорил он. — Девушка в ваших руках... Что же медлит и нейдет рыцарь?

— Ты молодец хоть куда, парень не промах, — отвечал Гримм. — Только доделывай начатое, за то рыцарь наградит тебя...

— Удавкой, как бешеную собаку; знаю я вас... Но вот, кажется, шпоры... Это он...

На самом деле, другой факел еще более осветил присутствующих в подземелье.

Его нес оруженосец Доннершварца.

За ним шел и сам он, пошатываясь на каждом шагу.

— Ну что, добыли ли? — рявкнул он, обращаясь к Павлу.

— Наше слово свято, — отвечал тот, указывая рукой на дверь, видневшуюся в глубине, и повел его к ней.

— Ну, Гримм, черт возьми, — ворчал, следуя за ним, Доннершварц, — нашел же ты местечко, куда спрятать ее. Видно, ты заранее привыкаешь к аду...

— Привыкнешь! — лаконически и лукаво отвечал Гримм.

Пропальный подал знак своим, и дружинники последовали за ушедшими.

Павел с шумом отодвинул железный засов. Чугунная дверь, скрипя на ржавых петлях, отворилась.

В низкой, тоже со сводом комнате, отдаленной от подземелья полуразрушенной стеной, висела лампада и тускло освещала убогую деревянную кровать, на которой, казалось, покоилась сладким сном прелестная, но бледная как смерть девушка.

Шелковый пух ее волос густыми локонами скатывался с бледно-лилейного лица на жесткую из грубого холста подушку, сквозь длинные ресницы полуоткрытых глаз проглядывали крупные слезинки...

Увы! это был не сладкий сон, а глубокий обморок.

Доннершварц бросил на нее плотоядный

взгляд, но приблизившись, воскликнул:

— Черт возьми, да это не Эмма! Это какой-то оглодыш. Жива ли она?

На самом деле Эмма, — это была она, — исхудала до неузнаваемости. Павел наклонился над лежащей.

— Еще дышит этот живой остов. Она нес скоро умрет и здесь, а на свежем воздухе и подавно... Бабы живучи, а это только с их бабьего придурья...

— Но что с ней сделалось?

— Что? Испугал я, как, выманивши ее голосом Григория и схватив в охапку, потащил с собою... Сперва она завопила: «Гритлих, Гритлих, где ты?»

— Подожди, с того света он придет за тобой, — сказал я ей. — С тех пор она и не двинулась.

Но Эмма шевельнулась, или, скорей, вздрогнула от холода и сырости воздуха, которым было пропитано подземелье.

Доннершварц, стоявший немного поодаль от кровати и пожиравший свою жертву жадными взглядами, сделал уже шаг вперед с распростертыми, как бы для объятий, руками.

— Не терпится более! — шепнул Пропальный и хотел уже кинуться на него, но у несчастной девушки нашелся другой невидимый хранитель.

С потолка оторвался тяжелый камень и упал между ней и Доннершварцем.

Негодяй испугался и отступил.

— Перестаньте, благородный рыцарь, — начал Гримм с чуть заметной иронией в слове «благородный», — разнеживаться теперь над полумертвою... Что тратить время по пустякам. Она от вас не уйдет. Идите-ка лучше собирать в поход своих товарищей, и, когда они все выберутся из замка, мы с Павлом перенесем ее отсюда к вам. Вы, проводив рыцарей, не захотите марать благородных рук своих в драке с русскими и вернетесь домой... Там вас будет ожидать Эмма и мы с нашими услугами.

— Да, да, пусть сам черт заступает за нее, но она будет моею! — воскликнул Доннершварц. — А теперь я на самом деле пойду, — добавил он, уже дрожа от страха.

Предшествуемый оруженосцем с факелом, он ушел. Гримм с Павлом и двумя подкуплен-

ными злодеями остались одни.

— Ну, а мы что? Улепетнем тоже отсюда? — заговорил Гримм, когда звуки шпор умолкли вдали.

— Скоро утро... несподручно... Да еще вот что мне сомнительно: куда девались мои земляки? Я знаю Чурчилу как самого себя: он не убежит, разве что в другом месте рыскает за добычею, — отвечал Павел.

— А нам что до них? Этого чугунного рыцаря Доннершварца заведем в глушь, а там...

Гримм сделал выразительный жест рукою.

— Нет, пусть они уберутся завтра, а мы разгромим кладовые и отправимся в надежное местечко... Ведь мы с тобой одной шерсти, небось, уживемся везде...

— А эту полуживую девчонку похороним здесь! Я не намерен делать угодное Доннершварцу.

— И теперь же! Неужели же дожидаться ее смерти? Может, она еще и за горами...

— А у вас за плечами! — крикнул Иван Пропалый и бросился на них.

Дружинники последовали за ним.

Павел ускользнул, воспользовавшись су-

матохой.

Гримм пырнул ножом одного русского, но сам пал под узловатым кистенем Пропалого. Двое других тоже были убиты.

Побоище кончилось, и все умыслы злодеев рассеялись прахом.

— Куда же девался этот искарлотский Павел? — спросил один из дружинников, отирая свой окровавленный меч.

— Поищем и его, но прежде надобно сделать расправу с этой падалью! — отвечал Пропалый, указывая на мертвых и шевельнувшегося посреди них Гримма.

— А, прикинулся! А кажись, удар был верен, без промаха! Чу, отдыхает, силится сказать что-то! — промолвил другой дружинник, наблюдая Гриммом.

— Возьмите вот тут... у меня за поясом все, что найдете, — прерывистым голосом заговорил последний, — только не добивайте меня!

— Эк, что сморозил! Да мы и без того оберем тебя, — заметил Иван, обыскивая его, и, нащупав в указанном месте большую кису, вытащил ее и радостно воскликнул: — Правда, эта собака стоит того, чтобы задать ему

светлую смерть!

В эту минуту Эмма очнулась, приподнялась на кровати и смотрела на всех мутными, но не испуганными глазами.

Иван Пропалый подошел к ней и помог ей встать.

Она продолжала обводить всех диким взглядом.

— Наконец я умерла! — заговорила она слабым голосом. — Гритлих, ты взял меня к себе! Как я рада! Как мне хорошо теперь! Что жить без жизни. Да где же ты? О, дай мне полюбоваться на тебя...

Она протягивала руки в пространство.

— Нет, ты не умерла, ты жива, красная девица. Мы вырвали тебя у смерти. Вот твои воюроги, — сказал Пропалый.

Эмма взглянула бессмысленным взглядом на трупы.

— А они давно уже умерли? Вместе со мной? Это вы, батюшка? Теперь мы не расстанемся с Гритлихом!

— Да она полоумная, брось ее, что проку возиться с ней! — закричали Ивану товарищи.

— Нет, возьмем ее с собой из этой преисподней. Тут побыть, так и мы заблажим. Давайте-ка на ее место этого старого Кощея! — сказал Иван.

Гримма потащили на кровать.

Он всеми силами выбивался из рук несших его, но видя, что усилия тщетны, закричал что есть силы, зовя кого-нибудь на помощь.

— Захмелел, горлопятина! Погоди, скоро не так запоешь! — говорил Пропалый, укладывая его и связывая своим кушаком.

Дружинники натаскали обломки скамеек, древков от валявшихся в подземельи копий и, навалив их кучею под постель, зажгли факелом.

Гримм продолжал изрыгать ругательства, но скоро затих, охваченный дымом и пламенем.

— Собаке — собачья и смерть! Но куда делся окаянный Павел? — заметил Иван.

— Черт в зубах унес! — отвечали ему товарищи, освещая впереди и около себя все места и неся на руках слабую, безмолвную Эмму.

Они обыскали все обширное подземелье и, бросив поиски, поднялись через другую лестницу в необитаемую часть замка.

XXIII

Пожар

В этой необитаемой части замка Гельмстены обвивали полуувядшие плющи, высовываясь наружу из полуразрушенных окон; совы и филины летали на просторе и, натываясь на огонь факела, который принесли с собой из подземелья русские дружинники, чуть не гасили его и в испуге шлепались на землю.

Эмму положили на пол. Воздух освежил ее. Она стала дышать ровнее и свободнее.

Иван Пропалый, невзирая на сильный холод, окутал ее своим зипуном и, сам не зная, что с нею делать, куда ее девать и куда самим деваться, согласился с прочими, что пора действовать.

Они начали подставлять факел к рваным обоям; последние быстро вспыхивали, но вскоре гасли, шипя от сырости.

Видя, что это не действует, дружинники

стали собирать горючий материал и, наконец, достигли того, что пламя охватило всю комнату.

— Пора! Чу! петухи перекликаются. Чай, теперь давно за полночь? Наши продрогнут от холода и заждутся. Пожалуй, еще за упокой поминать начнут, подумав, что мы погрязли в этой западне по самые уши, — заметил Иван, подпаливая последнюю стену.

Все работали усердно, кто шапкой, кто чем попало, раздувая огонь, и скоро пламя широкими языками начало выбиваться из окон.

— Авось, теперь не погаснет огонь. Он прожорлив; как разбежится, так не уймешь, начнет метаться во все стороны: любо-дорого смотреть, — слышались замечания дружинников.

— Однако, братцы, горячо оставаться в этой жаровне. Выберемся-ка лучше на приволье.

— Братцы, что мучить девицу-то? Кинем ее лучше в середину. Не успеет и пикнуть, как уж ни одной косточки в ней не останется, — предложил один из дружинников, указывая на лежащую в полузабытьи Эмму.

— Нет, не тронь, она и так обижена! — сказал Иван. — Душа безвинная восплачется на нас, так Бог накажет.

Еще раз посмотрели они на всепожирающее пламя, длинными языками лезшее вверх по стенам, вышли на волю другим выходом и вскоре по уцелевшей полуразвалившейся лестнице спустились вниз.

Эмма, после их ухода, от действия свежего воздуха ожила, и, как была, в зипуне Пропалого, быстро убежала по стене замка, видимо, сама не зная куда.

Спустившись на двор замка, дружинники натолкнулись на груду изувеченных тел. По одежде и оружию они узнали в мертвецах своих земляков.

«Так вот они, пленники, захваченные ими, о которых говорил вчера рейтар, при въезде в ворота замка!» — подумали русские молодцы.

Распаленные гневом и жаждою мщения, они начали с своей стороны дикую расправу над встречными-поперечными: как звери, зарыскали они по двору и по замку и рубили сонных служителей.

Задумчиво всю ночь расхаживал Бернгард

по стенам замка. В его душе боролись между собой противоположные чувства: то он хотел покинуть зверский замок, где нисколько не уважается рыцарское достоинство, то жадно стремился мыслью скорее сесть на коня и мчаться на русских, чтобы кровью их залить и погасить пламя своего сердца и отомстить за своих.

Вдруг стены и весь замок мгновенно осветились. Огонь, пробившись сквозь ветхую западную башню, засверкал на зубцах ее и далеко отбросил от себя яркое зарево.

Бернгард испугался за фон-Ферзена и бросился скорей будить служителей, но нашел их перерезанными, между тем как из соседних комнат до него доносился беспечный храп и носовой свист спящих рыцарей.

— Пожар, пожар! — закричал он изо всей силы.

— Измена! Русские в замке! — крикнул в ответ ему неизвестный, бежавший прямо на него.

Бернгард узнал в нем того русского пленника, которого накануне велел повесить Гримму.

— Я вижу кто... — грозно встретил его Бернгард, одной рукой схватил его за шиворот, а другой приставил меч к его груди. — Кайся, сколько вас здесь и где твои сообщники, тогда я одним ударом покончу с тобой, а иначе — ты умрешь мучительною смертью.

— Заклинаю вас, благородный рыцарь, увериться в моей преданности к вам! Не теряйте времени, спешите на ту сторону замка, к воротам: там русские в одежде рейтаров Доннершварца. Я узнал их, они как-то прокрались в замок, перебили многих, сбили замки с конюшен, разогнали лошадей ваших и...

— Верны ли слова твои?..

— Да возьмите меня с собой!

Оба они растолкали кого могли из спящих, стремглав побежали в указанное Павлом место, хлопая дверьми, звуча оружием и неистово крича:

— Пожар, пожар! Русские!

«Пожар! Русские!» — грозным эхо пронеслось по замку.

Проснувшиеся и оставшиеся в живых рейтары и служители бросились во внутренние

апартаменты замка, где сладким сном покоились непобедимые рыцари.

— Вставайте! Пожар! — кричали они им.

— Где? — спрашивали, лениво потягиваясь, рыцари.

— На западной части башни!

— О, до нас еще далеко, — беспечно решили они и перевернулись на другой бок.

— Да ведь русские в замке!

— В чьем?

— В нашем, в нашем! Уж там дерутся — чу, какой гам!

— Как! — воскликнули они испуганно, и полусонные начали метаться по комнатам.

— Благородный рыцарь, господин повелитель мой, владетельный рыцарь Роберт Бернгард послал меня успокоить вас. Русские вчера обманули стражу нашу и вошли в замок в нашей одежде. Их немного, всего одиннадцать человек. Господин мой с рейтарами уже окружил их гораздо большим числом и просит вас не препятствовать ему в битве, хотя они упорно защищаются, но он один надеется управиться с ними, — сказал рыцарям вошедший оруженосец.

— Пусть за ними будет эта слава! — вскричали обрадованные рыцари.

— Да мы с малым числом и драться не захотим, — добавил другой, зевая во весь рот.

Доннершварц, как короткий приятель дома фон-Ферзе-на, находился с ним вместе в отдаленной от пожара и битвы комнате замка.

Старик, опечаленный, усталый от нескольких проведенных ночей, выпивший накануне лишнее, спал как убитый, не ведая, что около него спит самый злейший его враг, — похититель его дочери.

Ввиду известия, принесенного оруженосцами Бернгарда, что русских немного, что рыцарь Бернгард окружил их, хозяина не стали и беспокоить, чтобы он запас более сил к утру, на храбрость же Доннершварца плохо надеялись.

Доннершварц между тем с своими рейтарами, среди общей паники, наступившей в замке при вести о нахождении в нем русских, среди воплей отчаяния и мольбы о помощи, руководимый Павлом, настиг русских дружинников, убивавших поодиночке наповал каждого из попадавшихся им рейтаров.

Русские пробрались к стене, искали какого-нибудь выхода из замка, чтобы соединиться с своими, когда на них было сделано нападение. Они сомкнулись друг с другом крепко-накрепко, уперлись спинами к стене и, оградившись щитами, устроили стену, решась, видимо, дорого продать свою жизнь.

Заметнее всех среди сражавшихся мелькали меч Бернгарда, да угловатый кистень Пропалого.

Но бой был не равен.

Русские падали без подкрепления, тогда как редевшие ряды воинов Бернгарда заменялись новыми.

— Булат! булат! — кричали русские, в надежде, что их услышат товарищи, но тщетно.

Скоро расходившееся все более и более пламя зажженного ими замка осветило их трупы.

XXIV

Гибель Эммы

Огненный флаг, обещанный Иваном Пропалым, был выкинут им с башни замка Гельмст.

Его скоро заметили находившиеся в засаде в лесу, недалеко от замка, русские дружинники, предводительствуемые Чурчилой и Дмитрием.

— Сдержал свое слово Пропалый. Вот уж прямо по-молодецки! Славно светит он нам дорогу к замку! Ну, братцы, разом! Промните коней, да и у самих, чай, кровь застоялась! — разнеслись по вострепнувшейся дружине восклицания.

Все было забыто — сон, усталость, самая родина.

Мигом вскочили все на коней и пустились туда, где виднелось громадное зарево. Через рвы и канавы началась скачка: приманками служили слава, золото, раны и смерть.

Подъемный мост был поднят, но русские даже не взглянули на него. Они спешили,

спустились в ров и туда же свели своих лошадей. Вода во рве замерзла.

Если бы рыцари заметили движение русских и захотели воспрепятствовать им в переправе, то могли бы очень легко это сделать, так как соскочить в ров было делом нетрудным, а подняться на крутизну его сопряжено было с большим трудом.

Но из замка их не заметил никто, и они все благополучно выбрались на ровное место.

— Братцы! — воскликнул Чурчило. — Рубите и жгите мост! Во-первых, мы ответим Пропалому на его же язык, на язык огня, во-вторых, без моста никто из нас не подумает возвратиться назад.

Сказано — сделано. Мост запылал, русская дружина мчалась между двух огней.

— Кто это там на стенах? Переговоры, что ли, вести с нами хочет? — сказал один из дружинников, показывая рукою на стены замка.

Все поглядели по указанному направлению и, подъехавши ближе и всмотревшись, увидели ужасное зрелище. Иван Пропалый с товарищами висели мертвыми на зубцах стен. Головы их были раздроблены, тела

изуродованы, свежая кровь шла из их ран.

Насилу узнали их земляки.

В их сердцах и взорах закипела месть.

Прикрывшись щитами, с гиком ярости бросились они на замок, откуда слышались им смешанные громкие голоса, галоп лошадей и звук оружия.

Задрожали тяжелые ворота под первым натиском русских. Рыцари повыглянули на осаждающих из окон и говорили себе в утешение, что врагов малая кучка, что муха крылом покроет всю шайку, — так ободряли они своих рейтаров, но сами не трогались с места.

Русские кричали им, осыпая окна градом стрел.

— Ну-ка, выходите сюда, железные люди! Что вы головы-то высовываете, как лягушки из воды! Выходите смелей, мы раскупорим вашу скорлупу!

Бернгард, раненный в схватке с дружиною Пропалого, отдыхал в замке, фон-Ферзен бросался во все стороны, отдавал приказания одно нелепее другого, так что никто не понимал его и слушавшие только пожимали плечами, глядя на помутившегося умом старика. Дон-

нершварц, празднуя победу над Пропалым и помянув его полной чарой, расхрабрился и выехал на двор, но когда ропот ужаса при новом нападении русских достиг до него, он совершенно обезумел от страха и кричал, что под замком есть надежное убежище в подземелье, куда он и советовал ретироваться. Страх вышиб у него всю память, он забыл об Эмме, Павле и Grimme. Весь замок кружился в глазах его. В эту минуту фон-Ферзен схватил за поводья коня его и потащил за собою.

Мимо них пронесся в битву не усидевший на стенах замка Бернгард. Рейтары понеслись за ним, многие спешили и полезли на стены замка защищаться.

Смертный час несчастной Эммы был близок. Это нежное слабое создание, напуганное столькими ужасами, убитое столькими горестями, лишилось совершенно ума и в отчаянии бегало по саду, призывая своего Гритлиха. Только шум битвы вызвал ее оттуда. Не чувствуя холода, побежала она через двор с слабым остатком памяти и начала искать свою комнату, но огонь охватил уже большую часть замка; хотя она и не нашла ее, но, не

страшась пламени, ползла с непомерной силой и ловкостью между рыцарями на стенах. Легкое покрывало окутывало ее голову, рыцари не узнали ее, да и им не до нее было.

— Кто за мной! — слышался голос Бернгарда, с отвагой кидавшегося отражать русских от разбитых уже ими ворот, но число его рейтаров редело, и один оглушительный удар русского меча сшиб с него шлем и оторвал половину уха; рассыпавшиеся волосы его оросились кровью.

Бледный месяц выплыл из-за облаков и уныло глядел на кровавое зрелище.

Волны огня бушевали все сильнее и сильнее и ярко освещали битву, отбрасывая от себя далеко зарево. Со стен замка сыпалась смерть.

Невзирая на это, русские приставляли к ним лестницы и, отражая удары, смело лезли по ним, весело перекликаясь друг с другом.

— Чокайтесь, братцы, со смертью!.. Лезь прямо на нее!.. Ну, лицом к лицу... Вот так!

И действительно, иной, пораженный на верхней ступени, летел мертвым на землю.

Эмма стояла на стене, недалеко от клоко-

чущего пламени, машинально распростерши руку и обводя всех диким взглядом, наблюдая за каждым взмахом меча, как бы ожидая, что один из них наконец поразит и ее.

Григорий, заметивший на щитах некоторых рейтаров девиз Доннершварца, до того времени не участвовавшего в битве, ринулся на них, и скоро меч его прочистил ему дорогу к их начальнику.

Доннершварц, весь залитый железом, подобно другим рыцарям, стоял среди своих телохранителей.

Григорий, наехав на него, поднял наличник своего шишака.

— А, ты захотел проститься со мной, щенок! — заревел Доннершварц. — Прощай, кланяйся чертям! — Он поднял свое тяжелое копьё.

— Прощай, вот тебе посылка на тот свет! — возразил Григорий и, предупредив удар, нанес свой.

Копье вонзилось в бок железного рыцаря; Григорий, переломив копьё, оставил острие его в ране. Доннершварц зашатался, тихо вымолвил свою любимую поговорку и, свалив-

шись с лошади, рухнул на землю.

Григорий тихо отъехал от сраженного им врага, поднял взор свой к небу, и вдруг сердце его наполнилось неописанною радостью.

Его Эмма стояла на стене, молча, сложа руки, и глядела на него пристально, но холодным, безжизненным взглядом.

Он, поняв этот взгляд и молчание за ненависть к себе, горько улыбнулся и тихо и нежно назвал ее по имени.

Она встрепенулась, быстро и внимательно посмотрела на него и, вскрикнув, покатилась со стены.

Григорий обмер.

В это время русские продолжили себе путь и через стену. Он первый вошел в двери замка и только тогда очнулся.

Первое, что бросилось ему в глаза, был обезображенный, еще теплый труп любимой им девушки.

Григорий упал на него с диким стоном и зарыдал.

Слезы облегчили его, но страшная мысль осенила его и он почувствовал, что отныне укору совести не оставят его до самой смер-

ти.

— Ее поразила моя измена своим кормильцам, она покончила с собой, не вынеся ни злости любимого человека... Что ж, и мне остается... умереть...

Он бросился в битву искать смерти.

Вдруг он услышал знакомый голос.

Он взглянул назад и заметил старика, который, прислонясь к стене, один защищал вход через нее в замок. Димитрий, нападавая на него, вышиб меч из рук его, нанес удар и, перешедши через его труп, соединился со своими.

Григорий узнал этого старца. Это был фон-Ферзен. Он подбежал к нему и принял последнее проклятие от умирающего. Это было последней каплей, переполнившей чашу нравственных страданий несчастного юноши. Он, как сноп, повалился без чувств около трупа своего благодетеля и был вынесен своими на плечах из этого кладбища непогребенных трупов.

Все еще свирепствовавшее пламя освещало уже русские шишаки на стенах замка. Решил победу Чурчило, поразивший насмерть

единственного храброго защитника замка, Бернгарда.

Начался грабеж добычи, а затем попойка победителей, ликовавших весь остаток ночи на дворе догоравшего замка.

XXV

Под Новгородом

— Слава тебе, Господи! Вот и Аркадьевский монастырь, вот Никола на Мостицах, вот Лисья горка, вот Городище, а вот и храм нашей матушки-заступницы святой Софии! — радостно восклицали русские дружинники, возвращавшиеся из Ливонии с богатую добычею и увидевшие издали куполы и крыши родных церквей, позолоченные лучами зимнего солнца.

— Господи, благослови наше прибытие, — благоговейно сказал Чурчило, истово перекрестившись. — Сильно бьется ретивое, что-то знаменует оно.

— Как жаль Григория, пропал без вести, лилась своей возлюбленной! Где-то мечется теперь, сердечный? Нигде не отыскали мы

его! — заметил Димитрий.

— А больше всего поразило его другое горе, — промолвил Чурчило, — когда он узнал, что отца его, Упадыша, прокляли во всех новгородских соборах. Куда же ему деться, его бедной головушке? Где теперь найдется ему отчизна? Жаль его, жаль!

Скоро многие из воинов могли уже различить крыши своих домов и в восторге спешили окончить путь, погоняя лошадей.

Великий, богатый Новгород развернулся перед их глазами безграничной панорамой, кипел своим многолюдством, и звуки разных голосов достигали уже их ушей, сливаясь с разносимым ветром благовестом к вечерням.

В это время великий князь быстрыми шагами подступал к Новгороду, а передовой отряд его спешил занять Городище.

Чурчило с товарищами уже подъезжал к городу. Вблизи уже показались кресты многочисленных церквей новгородских. Дружинники скинули шапки и набожно перекрестились.

— Стойте, братцы! — сказал Чурчило, осенив себя троекратным крестным знамени-

ем. — Прежде чем приедем домой, подумаем, где он у нас будет: на воле или в ратном поле?

Дружинники остановились.

— Вон, прямо-то, по косогору, что-то желтеется на снегу, — заметил Димитрий. — Я думаю, что это не городки ли уж поделаны для защиты.

— Да, должно быть, что мы с битвы поспеем прямо в битву, — добавил один из воинов.

— Кажись, война у наших закипает с москвитянами; но куда нам деваться, чью сторону держать, куда лететь, на вече, или на сечу? — задумчиво произнес Чурчило.

— Мы с тобой всюду поспеем, — отвечал Димитрий. — Пусть голос наш заглушают на дворнице Ярославлевом — мы и не взглянем на этот муравейник. Нас много, молодец к молодцу, так наши мечи везде проложат себе дорожку. Усыплем ее телами врагов наших и хотя тем потешим сердце, что это для отчины. А широкобородые правители наши пусть толкуют про что знают, лишь бы нам не мешали.

— Для земли родной забываю я обиды и для земляков готов всегда держать меч наго-

ло! Однако сделаем привал, чтобы свежими и бодрыми вернуться домой, — сказал Чурчило, слезая с лошади.

Все спешились.

Кто начал кормить из полы кафтана свою лошадь, кто стал распивать круговую чару запасного вина.

Вдруг невдалеке от них показались длинные обозы, тянувшиеся из Новгорода и пробиравшиеся на псковскую дорогу.

Дружинники долго недоуменным взором следили за ними.

— Однако надобно узнать, кто это прокатывает свое имущество? Видно, залежалось оно в сундуках, так хотят его проветрить, — сказал Димитрий.

— А быть может, везут его припрятать в надежное место от зорких глаз москвитян. Только едва ли удастся что спрятать от них: говорят, они сквозь землю видят, как сквозь стекло, да и чутье у них остро к золу и серебру, — заметил Чурчило.

— Эй вы, куда едете? На теплые моря, что ли? — крикнули дружинники провожавшим обоз людям.

Те сперва испугались и хотели даже повернуть лошадей, но затем, взглядевшись в кричавших, доверчиво приблизились к ним.

Это были иноземные купцы, ехавшие с товарами в Псков, спасаясь от хищничества москвитян.

Начались спросы-переспросы.

Купцы рассказали дружинникам о новгородских событиях последних дней и о начавшейся войне Великого Новгорода с великим князем Иоанном и добавили в заключение, что до них донеслась весть, что псковские дружины сошлись с дружинами великого князя, а съестные припасы и другое продовольствие подвигаются также к москвитянам и отстоят уже далеко от них. Новгородские ратные люди покушались было подстеречь их, так как охранных воинов немного, но все еще перекорялись, кому вести их туда.

— Братцы, метнемся на псковитян пере-
межных, захватим, что можем! Веселей будет
домой въезжать! — воскликнул весело Чур-
чило и тотчас вскочил на лошадь.

Все последовали его примеру.

Обозы тянулись своею дорогою.

Окольным путем, тайком от глаз и ушей пробиралась неугомонная дружина. Почти на каждом шагу их стерегла опасность; в виду их разъезжали московские воины, сторожившие вылазки новгородцев.

Это был передовой отряд, посланный занять Городище.

Новгородские удальцы, доехав до известного им оврага, влево от большой дороги, пролежавшей через лес, поскакали по сугробам снега, и наконец один из них, приостановясь, слез с лошади, приник ухом к земле и быстро сказал:

— Едут, полозья скрипят по снегу, и недалеко.

Большую дорогу окружили со всех сторон и, выждав псковитян, мигом налетели на них с обоих боков повозок.

Начался грабеж.

Из охранной дружины многие разбежались, а остальные полегли на месте.

— Что, небось, тяжело вам везти поклажи-то свои? Вот мы облегчим их немного, — приговаривали новгородцы, разгружая повозки.

Но вскоре им надоело это и они, схватив за уздцы лошадей, повели их за собой.

Вскоре они выбрались благополучно из леса на просеку, под покровом уже нависшего на землей мрака. Опять перед ними растянулся Новгород, блестящий огнями.

Ночь уже вступила в свои права.

Дружинники ехали тихо, путеводимые городскими огнями, и скоро окрик сторожевого у городских ворот коснулся их ушей.

Быстро разнеслась молва по Новгороду о возвращении Чурчицы с удальцами.

Толпа молодежи бросилась встречать его. Сколько задано было ему вопросов, сколько посыпалось на него рассказов.

Чурчило узнал о бегстве своего отца, но от него скрыли истинную причину и место, где он находится, и старались поселить к москвитянам жестокую ненависть.

Он боялся спросить о своей Насте, но догадливые предупредили его и рассказали, что она никуда не показывается и все проливает горькие слезы от разлуки с ним, а что отец ее, посадник Фома, принуждает ее выйти замуж за одного вельможного ляха, который для нее

переменил даже веру.

— Нет, — сказал Чурчило, сверкнув глазами, — венец или гроб сулит мне моя судьба, но при жизни своей злу такому не попусти я свершиться!

XXVI

Единоборство сына с отцом

Ночь спустилась над Новгородом и его окрестностями.

Подобрав в руки висячие мечи и чуть шевеля наборными уздами, приближался отряд московской дружины к Городищу. Темнота скрывала следы его, и он скоро достиг места, которое было назначено пунктом атаки, и остановился под прикрытием оврага выжидать глухого времени ночи.

Огоньки мелькали еще перед ними вдали чуть видимыми точками; снег порошил и ложился на доспехи воинов белою тканью.

Воеводы сидели в кружке. Один только из них, маститый старец, отделившись от прочих, стоял, скрестив руки на груди, против Новгорода и, казалось, силился своими взора-

ми пробить ночную темноту.

— И куда этот старик движет столетние ноги свои! — говорил, указывая на него, один из сидевших воевод. — Если и мыши нападут на него, то прежде огложат его, как кусок сыру, чем он поворотит руку свою для защиты. Уж он и так скоро кончит расчеты с жизнью. Один удар рассыплет его в песчинки, а он все лезет вперед, как за жалованьем.

— А почему знаешь, чего не ведаешь. Быть может, он первый вышибет победу у врага. Вишь как идет вперед, а по проторенной-то дорожке за ним всякому идти охотнее.

— Да мы и без него пойдем на Городище как домой, — возразил третий.

— Вот и последние огоньки зажмурились в Новгороде. Теперь ударим-ка.

— Смелей! — проговорил быстро старик, подходя к ним, и бодро и легко вспрыгнул на коня.

— На коней! Вперед! — крикнули воеводы и во весь карьер пустились вверх на Городище.

— Ступайте на тот свет, дорога всем проторна! — встретили их голоса, и передние

воины, осыпанные градом стрел, покатались вместе с конями под гору.

— А! подстерегли, злодеи! — воскликнул старик и, оправясь от первого отпора новгородцев, разжег нагайкой своего коня и пустил его в самую середину врагов.

Битва сделалась повсеместною.

Москвитян было больше числом, но Чурчило, предводительствуя новгородцами, сохранял равновесие сил, сражаясь в центре.

Меч его сверкал над головами врагов, щит его был перерублен, и он откинул его.

Старик, со стороны москвитянин, с ловкостью юноши управлял своим оружием, меч его только вместе со смертью опускался на головы противников, защемлял и мял крепкие шишаки их.

Чурчило в свою очередь не делал мечом ни одного промаха.

Все воины дрались с остервенением.

Новгородцы не уступали.

Главные бойцы-противники наскочили один на другого.

— Сдавайся! — воскликнул Чурчило, закидывая на спину другой щит свой и направляя

на старика меткий удар.

— Я никогда не сдавался и не поддамся никому! — гордо отвечал старик и ловко отбил удар Чурчицы.

— Так я научу тебя ползать не только предо мной, но еще под ногами моего коня! — с бешенством крикнул новгородский богатырь и одним взмахом меча своего вышиб меч противника.

— Сдавайся же! — приставил он острие меча к его груди, — а то я проткну тебя насквозь, как воздух!

— Как удастся, повалимся хоть вместе, — отвечал старик и пустил в него копье, мотавшееся за его спиною.

Копье вонзилось в шею лошади, задрожало в ней, и она, пронзенная, зашатавшись, упала со всадником.

Быстро вскочил Чурчило на землю.

— О, ты не стоишь железа!

Он повернул свое копье тупым концом и готов был вышибить из седла своего противника, как вдруг раздавшийся вблизи выстрел осветил лица обоих.

Они с содроганием отступили друг от дру-

га.

— Батюшка! — упавшим голосом прошептал Чурчило и выронил из рук меч.

— Сын! — воскликнул не менее пораженный Кирилл. — Это мы с тобой ищем жизни друг у друга?.. Вот до чего нас довела лихая судьба!

Старик всплеснул руками.

Чурчило молчал.

— И ты останешься другом врагов моих? Прежде отрекись от меня! — продолжал Кирилл.

— Что же делать, батюшка! Я целовал крест служить Великому Новгороду.

— Ин быть так! — сквозь слезы проговорил старик.

Кругом них раздались гики и вопли, кипела битва, но отец, не взирая ни на что, слез с лошади и, возложив крестообразно руки на голову коленапреклоненного сына, благословил ее.

— Быть может, мы не увидимся! И я целовал крест Иоанну. Проклятие небес поразит того, кто не исполнит клятвы! Прощай, кланяйся Фоме. Если он одумается, то я охотно го-

тов назвать его дочь моею.

Чурчило плакал навзрыд.

Кирилл тоже.

— Еще прощай!

— А если мы в другой раз встретимся? — спросил Кирилл.

— Тогда уж, конечно, я отклоню меч свой от тебя! — отвечал сын.

Они обнялись и расстались.

Москвитяне между тем стали брать видимый перевес численностью.

Димитрий один не в силах был отражать их напора. К тому же какой-то лях, вмешавшийся в число сражающихся, вскоре бежал и расстроил своих.

Смятение в рядах сделалось всеобщим.

Чурчило, расставшись с отцом, бросился на помощь к товарищам, но поздно: он успел только поднять меч, брошенный ляхом во время бегства, и поспешил с ним на помощь к новгородскому воеводе, недавно принявшему участие в битве, и, будучи сам пеший, стал защищать его от конника, меч которого уже был готов опуститься на голову воеводы... Чурчило сделал взмах мечом, и конь всадни-

ка опустился на колена, а сам всадник повалился через его голову и меч воткнулся в землю.

— Кто бы ты ни был, храбрый витязь, — радостно произнес воевода, спасенный от смерти, — прими от меня этот перстень вместо талисмана и действуй на меня им по твоему произволению: все, что только пойдет против чести и совести, все сделаю я для тебя. Клянусь в том смертным часом моим!

Он сунул в руку Чурчилы перстень.

Последний обомлел: он узнал по голосу спасенного им: это был посадник Фома, отец Насти.

Нравственное потрясение, в связи с обилием потерянной крови, обессилило его.

Он упал.

На двух щитах понести его в Новгород.

Новгородцы отступили.

Таким образом Городище было занято москвитянами в одну ночь.

Вечером 27 ноября великий князь подступил к Новгороду с братом своим Андреем Меньшим и с племянником князем Верейским и расположился ставками у Троицы на

Озерской, на берегу Волхова, в трех верстах от города, в селе Лошанском. Брату своему велел он стать в Благовещенском монастыре, князю Ивану Юрьевичу — в Юрьевском, Холмскому — в Аркадьевском, Александру Оболенскому — у Николы на Мостицах, Борису Оболенскому — в местечке Сокове, у Благовещенья, князю Василью Вереysкому — на Лисьей горке, а боярину Федору Давыдовичу и князю Ивану Стриге-Оболенскому — на Городище.

Город, таким образом, был окружен со всех сторон; великий князь решил заставить сдатьcя новгородцев, истомив их голодом.

Псковитяне подвозили к нему, кроме огнестрельного оружия, хлеб пшеничный, калачи, муку, рыбу, мед, и стан его имел вид постоянного шумного пира.

Новгородцы же были лишены всякого продовольствия и голодали.

Только порой смельчаки, предводимые Чурчилой, внезапно делали вылазки из города, врасплох нападали на москвитян и отбивали у них кое-что из продовольствия.

Великий князь знал Чурчилу, знал, чей он сын, и назначил награду за поимку его столь-

ко золота, сколько потянет сам пойманный.
Но сделать это было нелегко.

XXVII

Прерванное обручение

Прошло несколько дней. Был поздний зимний вечер.

Терем степенного посадника Фомы весь горел огнями, пробивавшимися наружу лишь сквозь узкие щели железных ставень.

Ворота были открыты настежь. На дворе, под навесом, слышалось фыркание лошадей, лай цепных псов, звон их цепей, беготня прислуги и скрип то и дело въезжающих во двор саней, пошевней, росней, роспусков.

Из экипажей выходили гости и, поднявшись на несколько ступеней крыльца, отряхивались в сенях от снега и входили в приемную светлицу, истово крестясь на передний угол и кланяясь хозяину и гостям.

Приемная светлица, ярко освещенная огнями, была полна разряженными женщинами.

В красном углу, под образом Пречистой Бо-

городницы, были поставлены две небольшие скамьи, обитые голубою камкою.

Они были пусты.

Посредине светлицы стоял длинный стол, покрытый белой скатертью и буквально ломившийся от разных сладких закусок, оловянных крепкого меда и других яств и питей.

В заднем углу, за толстым обрубок дерева, недвижно сидел немолодых уже лет мужчина, с широкою бородою, закрывавшею половину его лица. Длинные волосы, широкими прядями спадавшие также на лицо этого человека, закрывали его совершенно, только глаза, черные как уголь, быстрые, блестящие, пристально глядели на поверхность стоявшего перед ним сосуда, наполненного водой.

Это был знахарь, или кудесник, приглашенный Фомой в его терем, по обычаю того времени, так как без него не мог состояться ни один брак, а вечер этот был назначен для благословения образом и обручения невесты и жениха — дочери посадника Фомы Настасьи и польского пана.

Кудесник гадал о будущей судьбе их.

Все гости притаили дыхание, смотря на его занятия, глядели на него с суеверным страхом и лишь изредка переглядывались между собою, покачивая головами и шептали про себя охранную молитву, считая его действия сношением с нечистой силой.

Вдруг среди невозмутимой тишины кудесник поднял голову, окинул всех своим стальным взглядом и глухо проговорил:

— Кровь на дне!

Лица всех побледнели от ужаса.

— По окончании обряда благословения вспрысни жениха с невестой этой водой и от них отлетит всякое зло, и сила нечистая ожжет крылья свои при прикосновении к ним.

Все оживились, воспрянули, точно гора свалилась с плеч у каждого.

Гости изъявили желание скорее видеть невесту, и Настасья Фоминишна, по зову своего отца, тихо вышла из боковой светлицы.

Ее мать, сгорбленная старушка, вела свою дочь, сама опираясь на костяной костыль.

Мать с дочерью, войдя в приемную, раскланялись и прошли в красный угол под икону Пречистой, где невеста заняла приготов-

ленное для нее место, продолжая, как и при входе, плакать почти навзрыд.

В это же время в сенях раздались быстрые шаги, бряцание мечей и голоса:

— Жених, жених приехал!

Настасья Фоминишна так и замерла на своей скамье.

— А, пан Зайцевский! — радостно приветствовал его Фома. — Где же твой дружок?

Зайцевский молча указал на дверь, в которую с надменным видом входил Зверженовский.

Он был одет так же, как и его товарищ.

Невеста сидела неподвижно. Казалось, она жила и дышала как-то машинально.

Началась беседа о новгородских делах, но ее вскоре прервал кудесник:

— Пора! — возгласил он. — Прежде чем закатится вечерняя звезда, вам должно уже совершить начатое, а то горе, горе послушавшимся.

Сказав это, от окинул всех своим пылающим взором.

Его тотчас подхватили под руки и повели в красный угол, где и усадили рядом с женихом

и невестой, чтобы силою своих заклинаний отгонял от обручающихся вражеское наваждение и охранял их от всякого зла и напастей.

Все по очереди подносили ему сладкие яства и пития, а хозяин — и пенязи на блюде.

Обручение с минуты на минуту должно было начаться, как вдруг в запертые ворота раздался такой сильный стук, что дрогнули стены и окна дома.

Послышался голос со двора, и, по-видимому, начались переговоры. Затем все смолкло, но скоро раздался вторичный удар в ворота, и они, пронзительно заскрипев петлями, растворились. Послышались тяжелые шаги, сперва по двору, затем по сеням, а наконец, и у самой двери.

— Кто это так смело и, кажется, насильно ворвался в мой терем? Дорога же ему будет расплата со мной! — сердито заговорил Фома.

Страшно перепуганные гости жались друг к другу, а кто был посмелей, схватились за рукоятки своих мечей.

Быстро распахнулась дверь, и в светлицу вошел атлетического сложения богатырь. Он

был весь залит железом, тяжелый меч тащился сбоку, другой, обнаженный, он держал под мышкой, на левом локте был поднят шлем, наличник шишака был опущен.

— Чур нас! Чур нас! — заговорили вполголоса гости, почтя явление это за сверхъестественное.

— Аминь, рассыпья! — произнес громким голосом кудесник, устремив на вошедшего свои странные глаза.

— Я не дух, а человек, а потому ты сам рассыплешься у меня от этого аминя в пшено! — обратился богатырь к кудеснику, встряхнув рукой свой огромный палашище.

— Что же ты за наглец, — сказал, ободрившись, Фома, — что незванный ворвался в мои ворота, как медведь в свою берлогу? В светлицу вошел не скинув шишаки своего и даже не перекрестился ни разу на святые иконы. За это ты стоишь, чтобы сшибить тебе шишак вместе с головою.

— Очнись, Фома! Я больше тебя помню Бога и чаще славлю всех его угодников, — возразил незнакомец, — с тобой расчет буду вести после, а теперь я хочу поговорить с этим па-

НОМ.

Он указал на Зайцевского.

Последний попятился спиной к стене.

— Я не помню, не знаю, не слышал и не видал тебя никогда! — проговорил он с дрожью в голосе.

— Порази тебя гнев небесный и оружие земное! По крайней мере узнаешь ли ты этот меч, который был покинут тобою в ночь битвы на Городище? Ты первый показал хвост коня своего москвитянам и расстроил новгородские дружины. Этот меч, я сам узнал недавно, принадлежит тебе.

— Если бы ты сказал это мне не здесь, я бы скорей умер, а не снес этого, и зажал бы рот твой саблею, я бы изломал в груди твоей этот меч, лжец бесстыдный! — с бешенством заговорил Зайцевский.

Он понимал, что это обвинение для него страшно, так как все проклинали ляха, расстроившего стройные ряды новгородцев и погубившего все дело.

— Лжец, я лжец? — заревел богатырь. — Смотри, изувер, чье имя вычеканено на клинке?

С этими словами он схватил его за шиворот и потащил на середину светлицы.

— Прими же твое от твоих!

Он взмахнул над Зайцевским его собственным мечом.

— Пощади! — взмолился он задыхающимся голосом.

— С условием, сознайся, что тебе принадлежит этот меч...

— Сознаюсь, только отпусти меня!..

— Еще одно слово: отступись от Настасьи...

Зайцевский замолчал.

— Умри же!..

— Отступаюсь!..

Богатырь выпустил пана, который быстро улепетнул в открытую дверь, куда уже ранее, воспользовавшись переполохом, успел улизнуть Зверженовский.

Фома, услышав признание Зайцевского и увидав его позорное бегство, подошел к неизвестному.

— Я благодарен тебе, храбрый витязь, — сказал он, протягивая свою руку. — Ты вырвал худую траву из моего поля.

Витязь опустил в руку его перстень.

Фома вздрогнул.

— Больше, чем друг, — брат! Требуй, по условию, от меня чего хочешь.

— Добавь к этим названиям имя сына...

Неизвестный открыл налечник.

— Желанный мой, ты жив! — воскликнула радостно Настасья и, забыв стыд девичий, бросилась ему на шею.

— Сокол ты мой ясный! Золотые твои перышки! — заговорила старуха и начала также обнимать его.

Фома соединил руки своей дочери и Чурчицы.

Нужно ли было говорить, что это был он?

XXVIII

Признание посольства Назария

Павел Косой, возвратившись из Ливонии, успел только навестить свое любимое Чортово ущелье и перешел соглядатаем к московскому воинству.

Через Павла великий князь узнал о голоде в Новгороде и спокойно ожидал его сдачи, зная, что недостаток в съестных припасах переупрямит новгородцев.

Со стороны осаждавших не было ни одного неприязненного действия, они наблюдали только, чтобы ни один воз с провиантом не проехал в город и, таким образом, осажденные, кроме наступившего голода, не терпели никаких беспокойств, расхаживали по своим стенам, изредка стреляли из пицалей и, сменясь с караула, возвращались к своим домашним работам.

Наконец 4 декабря прибыл в ставку великого князя владыко Феофил с тою же свитою, но, получив тот же ответ, печально возвратился домой.

В тот же день подступил к Новгороду царевич Данияр с воеводою Василием Образцом, Андреем Старшим и тверским воеводою.

Они расположились в монастырях: Кириллове, Андрееве, Ковалевским, на Дерявенице и у Николы на Островке.

Город сжали еще более.

Услыхав о прибытии новой рати, Феофил на другой день прибыл опять к великому князю бить усердно челом.

Иоанн, которому надоела уже нерешительность новгородцев, принял его холодно и сурово спросил:

— Долго ли ты, отец святой, будешь разгуживать из стороны в сторону? Я опасаясь, что твоя излишняя приверженность к отчизне не была бы сродни вреду.

Феофил вздохнул и ответил:

— Государь! Мы признаем истину посольства Назария с Захарием.

Он не в силах был договорить. Его голос оборвался, и он замолк.

— Тем лучше для вас, — сказал, улыбнувшись, Иоанн.

— Что же ты хочешь от нас теперь, госу-

дарь? — робко спросил Феофил. — Сними осаду и дай нам передохнуть.

— Я хочу властвовать в Новгороде, как в Москве! — лаконически отвечал Иоанн.

— Дай нам прежде поразмыслить об этом. Новгородцы решились пожертвовать своею жизнью за свободу, трудно заставить их повиноваться...

— Ослепленные глупцы! — воскликнул князь. — Да разве они теперь свободны? Разве они не в моих руках?

Феофил удалился, получив три дня на размышление.

Между тем по наказу Иоанна прибыло псковское войско и расположилось в селе Федотине и в Троицком монастыре на Баряже.

Затем он приказал своему художнику, Аристотелю, начать постройку моста под Городищем, как бы для приступа, и скоро мост этот, устроенный на судах, обогнул собою непроходимое место.

Все содействовало успеху Иоанна.

В виду новгородцев, его воины приложились к образам под знаменами и, заиграв в зурны, двинулись. Подковы коней их и коле-

са зашумели по мосту.

Все имело вид приступа.

Но вот открылись городские ворота и из них вышел архиепископ Феофил со свитой.

— Возьми, государь, с нас такую дань, какую мы будем в силах заплатить тебе, только не требуй новгородцев к себе на службу и не поручай им оберегать северо-западные пределы России. Молим тебя об этом униженно.

— Когда вы признали меня государем своим, — отвечал Иоанн, — то не можете указывать, как править вами.

— Как же? — сказал Феофил. — Мы не спознали еще московского обыкновения.

— Знайте же, — отвечал великий князь, — вечевой колокол ваш замолкнет навеки, и будет одна власть судная государева. Я буду иметь здесь волости и села, но, склонясь на мольбы народа, обещаю не выводить людей из Новгорода, не вступаться в отчины бояр и еще кое-что оставить по старине.

Феофил опять вышел из ставки и еще потребовал времени на размышление.

Ему дали срок, но заявили, что это в последний раз.

Сама Марфа соглашалась на сдачу города, с условием, чтобы суд оставался по-старине. Это условие служило ей безопасностью, но, узнав непреклонность великого князя, снова стала восстанавливать против него народ. Голос ее, впрочем, потерял большую часть своей силы ввиду вражды ее с Чурчилою, боготворимым народом, который называл его кормильцем Новгорода, так как он не раз отбивал у москвитян обозы с провиантом.

Он теперь с своими товарищами дозорил осаждавших и делал нечаянные вылазки на них.

Свадьба его с Настасьей Фоминишной была отложена по случаю поста, который уже оканчивался.

Прошло несколько дней.

На вече собралось множество народа.

Ожидали возвращения Феофила, который, по окончании данного ему срока, отправился к Иоанну предъявить ему предложенные Новгородом условия.

Наконец Феофил возвратился.

Твердую поступью вошел он на вече, но вид его был смущен. В изнеможении опустил-

ся он на лавку и некоторое время молчал. Все вопросительно глядели на него с томительным ожиданием. Наконец он заговорил:

— Иоанн не соглашается ни на что. Дал слово не выводить новгородцев в Низовскую землю, не судить их в Москве, не звать туда на службу, но когда я потребовал от него клятвы и присяги с крестным целованием, он отшвырнул ваши грамоты и сказал: «Государь не присягает», и сам отошел в сторону. Я просил бояр, чтобы они присягнули за него, но они не соглашались. Даже «опасных грамот» не дал мне великий князь, сказав: «Переговоры кончены». Теперь я окончил походы свои, сделайте, что внушат вам благие мысли ваши.

Феофил умолк.

Любовь к старинной вольности последний раз наполнила сердца новгородцев. Они думали, что Иоанн хочет обмануть их, а потому и не дал клятвы. Бояре, посадники более всего трепетали за свои отчины.

— Требуем битвы, умрем за вольность и святую Софию! — крикнули тысячи голосов.

Взрыв их смелости продолжался, впрочем,

недолго.

Ежедневно множество всякого чина людей уходили из Новгорода и передавались москвитянам. Наконец и сам Василий Шуйский-Гребенка, всегда верный, ревностный заступник новгородской свободы, сложил с себя чин воеводы и вступил на службу к Иоанну, принявшему его радушно и милостиво.

Несколько дней продолжалось еще смятение в Новгороде, но слабое, не поддерживаемое никем.

Марфа боялась выходить на вече, так как народ достаточно оценил ее, и не раз уже увесистые камни жужжали над ее головой и ударялись в ее роскошные пошевни.

Она сидела дома, близкая к мысли о самоубийстве.

Наконец снова Феофил предстал пред лицо великого князя и смиренно спросил:

— Чем пожалуешь нас, государь?

— Своего слова не переменяю, что обещал, то исполню! — ответил Иоанн.

Феофил от имени Новгорода предложил ему Луки Великие и Ржеву Пустую, но вели-

кий князь не взял.

— Избери же, государь, что сам пожелаешь, мы полагаемся во всем на Бога и на тебя.

Иоанн взял несколько обеж или тягол.

Феофил начал упрашивать его снять осаду.

— Мы терпим смертную истому голодную! — говорил он.

Великий князь велел боярам прежде условиться о дани и потребовал список новгородских волостей.

Новгородцы с своей стороны просили, чтобы он не посылал к ним писцов для проверки, называя их хапунами, а верил бы совести новгородской.

Иоанн обещал, но взамен потребовал, чтобы они очистили двор Ярославлев и взяли бы с народа присягу в верности ему, Иоанну.

Переговоры продолжались шесть дней.

Упрямые новгородцы и после этого не вдруг согласились отворить ворота, так что Иоанну пришлось снова пустить в дело огнеметы.

XXIX

Гаданье

Наступил праздник Рождества Христова. Уныло, не по-праздничному, звучали новгородские колокола. Начались святки. Всем было не до веселья, только в доме посадника Фомы шли своим чередом предсвадебные пиры, и каждый вечер свадебные поезда Чурчи-лы с гиком и гамом останавливались у тесового крыльца.

Чурчило был на седьмом небе и готов был, казалось, обнять весь мир.

Однажды, под вечер, Димитрий, шедший к Чурчило, столкнулся с ним у его ворот.

Последний был одет по-дорожному, с на-двинутою шапкою и суковатою палкою в руках.

— Это ты, Чурчило? — сказал Димитрий. — Куда это?.. На богомолье, что ли, к соловецким отправляешься?

— Как-то зазорно сказать тебе правду-матку, а надобно сознаться, — отвечал Чурчило. — Я иду не близко, к тому кудеснику, кото-

рый нанялся быть у нас на свадьбе. Он говорил мне, что у него есть старший брат, который может показать мне всю мою судьбу как на ладони, а мне давно хочется узнать ее.

— Чуден ты! — улыбнулся Димитрий. — Люди гадают, сидя на беде, да в несчастье кругом по горло, а ты выплелся из того и другого. О чем тебе-то гадать приспичило?

— Мало ли дум в голове? Слышишь ли, как гудит выстрел в ущелье, ведь он на чью-нибудь жизнь послан?.. Новгород должен пасть. Если мы решимся умереть за него, на кого покнем женщин и детей? Эта мысль гложет мое сердце.

— Но не опасно ли идти одному в неизвестное тебе место, к незнакомым людям? Может, они замышляют какие-нибудь ковы против тебя?

— Я не зову тебя с собой! — надменно произнес Чурчило и пошел своей дорогой.

— Постой, дай еще словцо вымолвить! — остановил его Димитрий. — Что-то сердце мое вещует не к добру. Послушайся совета брата своего названного, останься, или — я пойду с тобой.

— Нет, не мешай мне; со мной меч. Так велено, чтобы я был один и без креста, — сказал Чурчило и был уже далеко от него.

Чурчило шел к незабытому, может быть, читателем пустырю за Московской заставой, к той избушке, у которой, перед отходом в Ливонию, прощался Павел с Семеном.

Последний жил еще в ней и он-то и пригласил Чурчилу погадать о его судьбе.

Тусклый месяц как бы нехотя проглядывал сквозь тонкие облака. Выстрелы с этой стороны слышались громче и отдавались звучным эхо, можно было даже различать шум голосов сражающихся.

Чурчило смело шел далее, миновал луговину, прошел лес.

Перед ним уже виднелась изба, казавшаяся черною кучею на отливе белого снега. Сквозь щели этого полуразрушенного жилища виднелся мигающий огонек.

Чурчило подошел ближе. Кругом все было тихо, только за избушкой, показалось ему, что кто-то роет землю.

«Уж не мне ли готовят могилу»? — мелькнуло в его голове.

Его внимание привлекло открытое окно: вместо болта мотались у ставня кости человеческих рук.

Он поглядел в окно.

В переднем углу, где обыкновенно у всех христиан висит лик какого-нибудь святого, что-то было завешано белым полотенцем, запачканным кровью.

«Что бы ни было, что бы ни случилось со мной, — подумал Чурчило, — а надобно же войти в избушку».

И лишь только хотел он схватиться за скобку двери, она сама распахнулась перед ним с жалобным визгом ржавых железных петель.

Послышался стон, как бы от лопнувшей струны или от завывания тетивы после спущенной стрелы; огонь в избушке, вспыхнув, погас.

Кругом сделалось непроглядно темно, но Чурчило, обнажив меч и ощутив им перед собою, двинулся дальше. Вдруг что-то, фыркнув под его ногами, бросилось к нему на грудь, устремив на него зеленоватые, блестящие глаза.

Чурчило ткнул его острием меча; животное изъяло пронзительный, отвратительный звук и исчезло с хрипением.

В этот же момент около него раздался дикий хохот и чья-то холодная, как лед, рука обвилась вокруг его шеи, как бы стараясь задушить его.

Чурчило, оторопев было сначала, вскоре оправился, схватил руку своею так сильно, что она хрустнула и отпала, как бы оторванная. Почувствовав затем кого-то около себя, он с силой отпихнул его, и было слышно, как неизвестное существо ударилось об угол избышки и что-то посыпалось из-за стены.

— Слава храброму Чурчиле! — раздался голос. — Ты выдержал испытание, рассеял силу вражескую, теперь тебе опасаться нечего — ты гость мой!

В избышке снова заблестал огонек.

У ее порога стоял старик с льняной бородой и такими же волосами, падавшими на лицо.

— Садись же, дорогой гость! Я давно знаю тебя и давно ожидал к себе. Выпей-ка моего составца: он с дорожки укрепит тебя, — заго-

ворил старик, подавая Чурчиле какую-то влагу в человеческом черепе и вперив в него свои быстрые, насмешливые глаза.

— Да это кровь! — отвечал Чурчила, рассмотрев поданное питье и отстранил от себя.

— А меньшой брат мой, Семен, сказывал мне про тебя, что ты отважен, а ты, я вижу, что баба трусливая, не решаешься отведать моего состава. Он для тебя нарочно приготовлен. Это не кровь, а молоко бешеной волчицы с корнем той осины, на которой удавился Иуда, — заметил старик, снова подавая Чурчиле сосуд.

— Что это, еще, что ли, испытание? — воскликнул Чурчило. — Только я его не хочу выдерживать, — и опять отпихнул сосуд так, что часть жидкости пролилась на пол.

— Выпей же! — произнес грозно старик и подал сосуд прямо под нос Чурчилы.

Чурчила вспыхнул и, выхватив сосуд, бросил его на пол. Часть жидкости попала на одежду хозяина, зашипела и прожгла ее. Одежда задымилась.

— А! ты хотел меня зельем опоить, прислужник сатаны! — крикнул Чурчило. — Я

разгадал твое гаданье, разгадай ты теперь мое: долго ли тебе осталось жить?

Он схватился за меч.

Старик молча погрозил ему и таинственно указал на находившиеся в избе палаты, на которых что-то шевелилось.

Чурчило взглянул и увидел петуха, вытягивавшего шею и хлопавшего крыльями.

Петух запел.

— До трех раз могу я слышал его пение, — проговорил старик, — а в четвертый меня уже не застанет земля. Вот тебе клык черного быка с красным острием, он обмокнут в крови летучей мыши и заклят против всех дуновений нечистой силы; держи его при себе, а мне дай меч свой. Только остер ли он и гладко ли лезвие его?

— Если хочешь, подставь шею, я попробую на ней, но иначе я не отдам своего меча...

— Я вылощу его еще острее и глаже, и ты на нем прочтешь все, что желаешь знать...

Старик замолчал, пытливо глядя на Чурчилу. Последний тоже молчал. Петух пропел в другой раз.

— Чу, второй раз! Третьего крика я не пе-

ренесу и прощусь с тобою, — отшатнулся от Чурчилы старик. — А я бы мог поведать тебе многое о перемене в Новгороде... о Настасье.

Старик остановился, взглянул на Чурчилу исподлобья.

— Говори, говори, старичок, возьми меч мой, — стал вдруг упрашивать его последний и отдал меч.

Жадно схватил его старик и вдруг кинул далеко не старческим голосом:

— А, ненавистный человек, наконец-то ты в моих руках!.. Теперь-то я досыта, нет, — ненасытно начну пить кровь твою!

Он бросился на Чурчилу.

Последний не потерялся и схватил его за бороду. Борода осталась в его руках. Меч просек ему плечо, но разгоряченный юноша только встряхнулся и схватил своего соперника за горло.

Старик яростно крикнул. На палатях слышалась возня, и четыре рослых, плечистых мужика с кистенями в руках прыгнули на пол и бросились на Чурчилу.

Последний, прижавшись в угол, отбивался от них стариком, которого продолжал дер-

жать за горло.

Минуты Чурчилы были сочтены, как вдруг дверь избышки от сильного удара распахнулась, сорвавшись с петель. В избу вбежал Дмитрий со своими удальцами и, взглянув на старика, крикнул ему:

— Павел, полно жить!

Чурчило только из этого восклицания узнал Павла, но не разглядел его, так как его голова, снесенная с плеч мечом Дмитрия, подпрыгнула несколько раз по полу и укатилась в темный угол, а туловище, простояв минуту, тоже рухнулось.

Петух пропел третий раз — предсказание убитого сбылось.

Семен с остальными злодеями лежали на полу избы в предсмертных корчах.

Дмитрий вывел Чурчилу из избы.

Названные братья обнялись.

XXX

Свадьба среди боя

Наступил вечер 14 января 1478 года. На вече было решено на другой день сдать город Иоанну, если в эту ночь не прекратятся с его стороны неприязненные действия.

Темная ночь спустилась над Новгородом. Московские огнеметы не умолкали и то и дело делали бреши в стенах. Бойницы, строившиеся под надзором Аристотеля, росли с каждым днем все выше и выше перед новгородцами.

Городские стены трещали и распадались.

Чурчило был печален.

Узнав об определении народа сдать город, он напрягал все свои силы, чтобы защитить его: сам наводил стволы огнеметов на москвитян, устраивал крепкие засеки или рогатки, ободрял своих, но тщетно...

Главная, противоположная бойницам москвитян стена, на которую опирались все надежды новгородцев, осветилась выстрелом,

и часть ее, окутанная сизою пеленою сгустившегося дыма, с треском взлетела на воздух.

Для приступа открылась широкая дорога. Как пораженный молнией, остановился Чурчило недалеко от разрушенной стены.

«Все ли кончено теперь? — мысленно спросил он самого себя, очнувшись. — Для Новгорода — все, но для меня еще только начинается».

Как бы что вспомнив, он ударил себя по лбу и побежал по направлению ближайшей церкви, в дверях которой и скрылся.

К утру 15 января все готовились к встрече Иоанна. Весь Новгород был в движении.

В это время Чурчило вихрем летел к светлице Настасьи Фоминишны, расталкивая всех попадавшихся ему навстречу челядинцев.

Посадник Фома отправился прощаться с вечем. Лукерья Савишна молилась в своей образной, везде в доме было пусто и тихо. Девушка была одна.

— Милая, бесценная! Все готово, свечи горят, как наши сердца, перед иконами, налой освещен, едем, едем... Венцы блистают!.. Там,

на чужбине, совьем мы себе гнездышко! Здесь, в Новгороде, нет нам родины, нет тебе весны, моей ласточке, милой, нежной.

С этими словами он взял ее в охапку и понес к выходу.

Лукерья Савишна выбежала из своей горницы и, поняв в чем дело, поспешила на ними.

— Что вы, дети, что вы затеяли? Да слыхано ли, да видано ли венчаться так, не сказали мне ни слова и помчались. Что-то добрые люди скажут, что единственное детище степенного посадника Фомы Ивановича, Настасья Фоминишна, поскакала венчаться с молодец в одних санях, в одну шубу закутавшись!

Молодые люди не слышали ее. Они уже катили в пошевнях далеко от ворот родительского дома.

Оружие москвитян гремело почти около той церкви, в которой венчали Чурчилу с Настасьей, но они не дрожали от этих воинственных звуков, а рука об руку, в золотых венцах, обошли троекратно налой, и священник благословил молодых супругов. С чувством неизъяснимого благоговения, с немым

восторгом, наполнявшим их души, упали они на колени и долго молились. Вдруг Чурчило в ужасе вскочил. Раздался звон, мерный, унылый. Точно хоронили кого-то... И действительно, хоронили. Это были похороны Новгорода, но, вместе с тем, это был радостный звон, благовест русского самодержавия.

Чурчило крепко обнял жену свою и воскликнул голосом, полным отчаяния:

— Радость, тоска, солнце, молния, цветы, яд — все это вместе. Отец святой! — продолжал он со слезами в голосе, обращаясь к священнику. — Вот тебе все мое сокровище.

Он опустил на руки старца бесчувственную Настасью.

— Сохрани ее до меня только. Я вырвал ее из когтей судьбы для себя. С самой судьбой ратовал я и хотел хоть перед концом жизни назвать ее моею. Она моя теперь! Кто говорит, что нет?.. Я сейчас бегу к Иоанну. Если возвращусь с добрыми вестями — поставлю с себя ростом свечку угоднику Божию Николе, а если нет — не дамся в руки живой, да и Настасью живую не отдам. Если же совсем не возвращусь, то отслужи по мне панихиду

вслед за благодарственным послебрачным молебном.

Чурчило дико захохотал и стремглав выбежал из церкви.

Москвитяне, тщетно ожидавшие покорности новгородской, сомкнулись и пошли на приступ, но в это время городские ворота растворились настежь и в них показалась процессия: архиепископ Феофил с обнаженной головою и с животворящим крестом в руках шел впереди тихим, ровным шагом, за ним прочее знатное духовенство со святыми иконами и колыхающимися хоругвями. За духовенством шли именитые граждане и воины. Простого народа, впрочем, было немного — он от страха перед вступающими в город врагами попрятался. Несмотря на движение процессии, тишина была невозмутимая.

Лицо победителя-Иоанна было радостно; его окружали довольные лица московских бояр. Новгородцы, не ожидавшие себе прощения, приняты им были милостиво.

Не успел он ответить на слова Феофила о подчинении под державную руку Великого Новгорода, как полы палатки распахнулись, в

нее вбежал молодой красивый юноша и бросился к ногам Иоанна.

— Надежда-государь! — сказал он. — Ты доискивался головы моей, снеси ее с плеч, — вот она. Я — Чурчило, тот самый, что надо едал тебе, а более воинам твоим. Но знай, государь, мои удальцы уже готовы сделать мне такие поминки, что останутся они на вечную память сынам Новгорода. Весть о смерти моей, как огонь, по пятам доберется до них, и вспыхнет весь город до неба, а свой терем я уже запалил сам со всех четырех углов. Суди же меня за все, а если простишь, — я слуга тебе верный до смерти!

Молча выслушал его великий князь.

— Не посмотрел бы я ни на что, — отвечал ему Иоанн, — сам бы сжег ваш город и закалил бы в нем праведный гнев мой смертью непокорных, а после залил бы пепел их кровью, но я не хочу ознаменовать начало владения моего над вами наказанием. Встань, храбрый юноша. Если ты так же смело будешь защищать нынешнего государя своего, как разбойничал по окрестностям и заслонял мечом свою отчизну, то я добрую стену найду в пле-

чах твоих. Встань, я всех вас прощаю!

Счастливый вполне Чурчило очутился после того в объятиях отца, с которым тотчас же и помчался за молодою женою.

Феофил от лица новгородцев начал просить великого князя, чтобы он соблаговолил изустно и громко объявить им свое милосердие.

Иоанн встал с своего места и сказал:

— Прощаю и буду отныне жаловать тебя, своего богомольца, и нашу отчизну — Великий Новгород.

15 января рушилось древнее вече. Знатные новгородцы целовали крест Иоанну в доме архиерейском и приводили народ к присяге на вечное верное подданство великому князю московскому.

Арест вечевого колокола и Марфы Посадницы

Через несколько дней множество московских полков в полном вооружении вступили один за другим в Новгород и окружили вече.

Толпы народа появились около дворища Ярославлева и с удивлением наблюдали за таинственными действиями москвитян.

Ворота дворища скоро растворились настежь, и в них показались пошевни с какою-то высокою поклажею, тщательно от взоров любопытных покрытою рогожами.

Пошевни везли двенадцать лошадей. Их окружали со всех сторон московские воины с обнаженными мечами.

Процессия ехала тихо, молчаливо, как бы эскортируя важного преступника.

Но народ догадался, что было скрыто под рогожею.

— Батюшка ты наш! — слышались возгласы толпы. — Не стало тебя, судии, голоса,

вождя души нашей! Хоть бы дали проститься, наглядеться на тебя напоследок, послушать хоть еще разочек голоса твоего громкого, залихватого, что мирил, судил нас, вливал мужество в сердца и славил Новгород великим, сильным, могучим во все концы земли русской и иноземной. Еще хоть бы разочек затрепетало сердце, слушая тебя, и замерло, онемело, как и ты теперь.

Многие плакали навзрыд.

Вывезя вечевой колокол за городские ворота, один отряд воинов, сопровождавших его, отделился от прочих и снова поскакал в город.

Проехав несколько улиц, он остановился у чудного дома Марфы Борецкой, у ворот которого уже стояла московская стража.

Спешившись, воины вошли в огромный двор и нашли его совершенно пустым.

Пройдя двор и несколько запустелых светлиц, достигли они, наконец, наглухо запертой двери.

На стук их не получилось никакого отклика.

Дружно приложились они богатырскими

плечами. Дверь дрогнула и слетела с петель.

Что-то тяжелое, грузное упало на пол.

Это был труп повесившегося на крючке, вбитом в притолку двери. Воины узнали в нем пана Зверженовского.

Тело еще не совсем остыло.

Что побудило хитрого ляха на самоубийство, какая драма произошла перед этим в доме Борецкой — осталось тайной.

Воины, оттолкнув ногою труп, пошли далее на слабый свет, лившийся из боковой темной гридницы.

В ней нашли они Марфу.

Она стояла задом к ним, на коленях перед образом, покрытая черным покрывалом.

Трудно было определить, молилась ли она, раскаиваясь, или же призывала гром небесный на свою грешную голову — просила смерти?

Лампада колеблющимся светом озаряла золотые оклады икон и бледное лицо молящейся женщины.

Воинов не смутила эта молитва.

— А, голубушка! полно проводить Бога, как людей обводила бесовским языком своим.

Без слова, без малейшего сопротивления отдалась она в их руки, только глаза ее дико сверкали из-под нависших бровей.

Под тяжестью упавших на нее невзгод она лишилась рассудка.

17 февраля великий князь с своею победоносной ратью, вечевым колоколом и пленною Марфою отправился обратно в Москву.

Путь великого князя был весел и все ликовало с ним: Великий Новгород склонил свою гордую, увенчанную славой главу под ярмо новорожденной Москвы, под мощную десницу Великого Иоанна.

Ранним утром того же 17 февраля 1478 года в монастыре Соловецком, недалеко от церкви, стоял у могильного холма коленопреклоненный юноша в одежде чернеца и усердно молился.

Клобук его лежал на снегу, а светло-каштановые волосы, вьющиеся кольцами, рассыпались шелковым пухом по широким плечам. Глаза его, устремленные к небу, были светлы, как бы озаренные божественной искрой, а лицо покрыто могильной бледностью.

В нескольких шагах от него беседовали два

старца, вышедшие по окончании утрени подышать чистым воздухом зимнего утра.

— Какое же сновидение привиделось тебе нынешнюю ночь, отче Аврааме? — спросил один другого.

— Страшно, тяжело вымолвить его грешными устами! — отвечал отец Авраам. — Не мне бы подобало передавать его тебе! Я видел, будто бы пророчество настоятеля нашего, отца Зосимы, сбылось...

— Как так?..

— Да будто бы серп небесный, висевший над Новгородом, разросся в огненную тучу и как крылом обвил пламенем весь город. Господи, каким заревом загорелась вся твердь небесная. Я как теперь вижу его.

— Чудно!.. Прости, Боже, беззаконие кающихся и помилуй их. Я сам в недавнем времени видел!..

— Святые отцы, благословите пришествие в мирную обитель вашу бесприютного странника! — прервал говорившего старца раздавшийся за ними голос.

Они переглянулись и увидели перед собою скромно одетого мужчину с дорожным посо-

ХОМ в руках.

— Да будет благословен приход твой в тихую, безмятежную пустыню нашу, и да обретет душа твоя пристань вечную в недрах святости и созерцании творений Зиждителя. Да приобретет она себе житием праведным богатство духовное — успокоение, какое вкушает этот юноша, — проговорил отец Авраамий, благословляя пришельца и указывая ему на молящегося. — Но кто ты сам? — спросил он. — Почему покидаешь свет? Смотри, чтобы раскаяние не закралось когда-нибудь в душу твою и не разрушило бы в один миг труды долгого времени. Где молитва изливает тепло свое в душу, там недалеко и ковы лукавого.

— Я бывший гражданин падшего Новгорода Великого, а называюсь Назарием, — отвечал пришедший. — Мое намерение твердо и непоколебимо, как скалы, на которых построена ваша обитель.

— Как, пал Великий Новгород? Боже праведный, чудны дела твои! — воскликнули оба чернеца и, скинув клобуки свои, благоговеино перекрестились.

Назарий рассказал им, как это случилось.

— Кто же этот молящийся юноша? — спросил он, окончив рассказ.

— Это тоже земляк твой. Он, после искуса нашего, удостоился пострижения и назван братом Геннадием.

— А прежде как звали его? — Голос Назария дрожал.

— Григорием...

— Довольно, это он... Я узнал его! — воскликнул Назарий и бросился к Геннадию.

Тот, уже привлеченный рассказом о Новгороде, стоял недалеко от него и раскрыл ему свои объятия.

— Будь мне новым братом, отчизны я давно лишился, а свет покинул сам, быть счастливым нельзя в жизни здешнего мира, я сам убедился в этом. Забудь всю неприязнь людскую. Человек должен примириться с людьми. Храм святой — вот колыбель, в которой убаюкивается душа его. Я любил жизнь, свет, любил...

Бледные щеки юноши покрылись легким румянцем.

— Но все это остудил в могильной ти-

ши... — договорил он спокойно, но слеза, как дань прошлому, скатилась по его щеке.

— Да разве ты прежде смерти умер для жизни, для всего? — спросил его Назарий.

— Для всего, совершенно для всего! И мои руки крепко держали меч, а сердце кипело львиною отвагой, — с жаром заговорил он. — Но теперь хлад моей жизни согревается небесным огнем. Я вымолил себе награду: она уже являлась ко мне и звала меня к себе. Награда моя близка. О, будь и ты счастлив, молись о сладком утешении, которое я уже чувствую в себе, молись о нем одном.

Он крепко сжимал руку Назария.

— Где же обрету я это утешение? Дай услышать мне его? — спросил Назарий.

Геннадий молча указал ему на слова, высеченные на могильной плите, лежавшей над холмом, у которого он молился.

Назарий наклонился и прочел:

«Приидите ко Мне вси обремененнии и труждающиеся и Аз упокою вас».

Послесловие

Наше незатейливое правдивое повествование окончено.

Бросим же общий взгляд на дальнейшие судьбы России под скипетром Иоанна III, справедливо прозванного современниками Великим, а нашим известным историографом Н. М. Карамзиным — «первым русским самодержцем».

Новгород пал. За ним последовали остатки и других уделов, присоединенных к Москве.

До Иоанна III Россия около трех веков находилась вне круга европейской политики, не участвуя в важных изменениях гражданской жизни народов.

Хотя ничего не делается вдруг, хотя достойные усилия московских князей от Калиты до Василия Темного приготовили многое для единовластия и русского внутреннего могущества, но Россия только при Иоанне III как бы вышла из мрака к свету, из мрака, среди

которого не имела ни твердого образа, ни полного государственного бытия. Полезная для отечества хитрость Калиты была хитростью ханского слуги. Великодушный Димитрий победил Мамаю, но видел пепел Москвы и раболепствовал Тахтамышу. Сын Донского, действуя с необыкновенным благоразумием, соблюл целость Москвы, но уступил Смоленск и другие русские областва Витову и еще искал милости у ханов, а внук не мог противиться горсти татарских хищников и испил всю чашу стыда и горести на престоле, униженном его слабостью, и был пленником в Казани, невольником в самой Москве, хотя и смирил наконец внутренних врагов, но восстановлением уделов подвергнул великое княжество новым опасностям междоусобий.

Орда с Литвою, как две ужасные тени, заслоняли мир от России и были ее единственным политическим горизонтом. Россия была слаба, так как не ведала сил, в ней сокровенных.

Иоанн III, рожденный и воспитанный данником степной орды, подобно нынешним киргизским, сделался одним из знаменитей-

ших европейских государей и был почитаем и ласкаем от Рима до Царьграда, Вены и Копенгагена, не уступая первенства ни императорам, ни гордым султанам.

Без учения, без наставлений, руководимый только природным умом, он держался мудрых правил во внешней и внутренней политике, силою и храбростью восстанавливая свободу и целостность России, губя царство Батыево, тесня, обрывая Литву, сокрушая вольность новгородскую, захватывая уделы, расширяя московские владения до пустынь Сибирских и Норвежской Лапландии[67].

Браком с Софьею Палеолог обратив на себя внимание держав, разодрав завесу между Европою и Россиею, обозревая с любопытством престолы и царства, не хотел вмешиваться в чужие дела, заключал союзы лишь полезные для отечества, искал орудия для собственных замыслов и не служил никому орудием.

Последствием было то, что Россия, как независимая держава, величественно возвысила свою главу на границах Азии и Европы, сохраняя спокойствие внутри своих границ и не боясь внешних врагов.

Совершая это великое дело, Иоанн преимущественно занимался устройением войска, хотя сам не имел воинского духа.

— Сват мой, — говорил про него Стефан Молдавский, — странный человек: сидит дома, веселится, спит спокойно и торжествует над врагами. Я всегда на коне и в поле, а не умею защищать земли своей.

Иоанн родился не воином, а монархом, сидел на троне лучше, чем на коне, и владел скипетром искуснее, нежели мечом.

Воин на престоле опасен: легко может увлечься и начать кровопролитие только для своего личного славолубия, легко может одною несчастною битвою утратить плоды десяти счастливых. Ему трудно быть миролюбивым, а это лучшее качество в венценосце[68].

Внутри государства он не только учредил единовластие, оставив до времени права владетельных князей одним украинским или бывшим литовским, чтобы сдержать слово и не дать им повода к измене, но был и первым истинным самодержцем России, заставлял благоговеть перед собой вельмож и народ, восхищая милостью, ужасая гневом, отменив

частные права, несогласные с полновластием венценосца.

Председательствуя на церковных соборах, он всенародно являл себя главою духовенства; гордый в сношениях с царями, величавый в приеме их послов, он любил пышную торжественность, установил себе обряд целования монаршей руки в знак особой милости, стремился всеми наружными способами возвыситься перед людьми, чтобы сильно действовать на их воображение, — одним словом, разгадав тайны самодержавия, сделался как бы земным богом для россиян, которые с того времени начали удивлять все иные народы своею беспредельною покорностью монаршей воле.

Немецкие и шведские историки шестнадцатого века единогласно приписали ему имя Великого, а новейшие замечают в нем разительное сходство с Петром I. Оба, без сомнения, велики, но Иоанн, включив Россию в общую государственную систему Европы и ревностно заимствуя искусство образованных народов, не мыслил о введении новых обычаев; не видим также, чтобы он пекся о просве-

щении умов науками. Призывая художников для украшения столицы и для успехов воинского искусства, он хотел единственно великолепия и другим иностранцам не заграждал пути в Россию, но только таким, которые могли служить ему орудием в делах торговых или посольских — любил изъяслять им только милость, как пристойно великому монарху, к чести, не к унижению собственного народа. Но в истории княжения Иоанна III, и в истории Петра, замечает Н. М. Карамзин, должно исследовать вопрос, кто из этих двух венценосцев поступил благоразумнее и согласнее с истинной пользой отечеству.

Иоанн III принадлежит к числу весьма немногих государей, избираемых Провидением решить надолго судьбу народов.

Он герой не только русской, но и всемирной истории.

Он явился на политический театр в то время, когда новая государственная система вместе с новым могуществом государей возникла в целой Европе на развалинах системы феодальной или поместной.

Иоанн разрушил у нас систему удельную.

Тяжелый труд государя сравнительно рано сломал духовные и физические силы.

Подобно своему великому деду, герою Донскому, он хотел умереть государем, а не иноком.

Склоняясь от престола к могиле, он давал еще повеления для блага России и тихо скончался 27 октября 1505 года, в первом часу ночи, имея от роду 66 лет, 9 месяцев и провластвовав 43 года 7 месяцев.

Тело его погребли в новой церкви Архистратига Михаила.

Летописцы не говорят о скорби и слезах народа — славят единственно дела умершего, благодаря небо за такого самодержца!



All rights reserved. This book or any portion thereof may not be reproduced or used in any manner whatsoever without the express written permission of the publisher except for the use of brief quotations in a book review.

**«Strelbytsky
Multimedia Publishing»**

Saksaganskogo str., 58, office 8
Kiev, Ukraine, 01033

tel. +38044 331-06-20
e-mail: dmytro.strelb@gmail.com

Все права защищены. Эта книга или любая ее часть не может быть воспроизведена или использована любым другим способом без письменного разрешения издателя исключая использование цитат из книг или иного способа предусмотренного законодательством.

**«Мультимедийное
издательство Стрельбицкого»**

ул. Саксаганского, 58, оф.8
Киев, Украина, 01033

тел. +38044 331-06-20
e-mail: dmytro.strelb@gmail.com

**Электронная книга издана
«Мультимедийным издательством Стрельбицкого»**

С нашими изданиями электронных книг и аудиокниг вы можете познакомиться на сайтах:
www.strelbooks.com **www.audio-book.com.ua**

Желаем приятного чтения!

Свои замечания и предложения направляйте на e-mail: dmytro.strelb@gmail.com

Эта книга охраняется авторским правом

Copyright © 2016

«Мультимедийное издательство Стрельбицкого»

Примечания

Полицейские того времени.

[^^^]

По прованию.

[^^^]

Обывателей.

[^^^]

В передний угол.

[^^^]

Разбой.

[^^^]

6

Охотниками прозывали молодцев, промышлявших набегами на соседние земли.

[^^^]

Пушки.

[^^^]

8

Новгородское тесто того времени.

[^^^]

Оловянная кружка.

[^^^]

Митрополит московский, бывший после святого Филиппа.

[^^^]

Тюрьма.

[^^^]

Так называются медные, вызолоченные ворота, по народному преданию, вывезенные из Корсуни или Херсонеса, — они находятся на западной стороне церкви, — знаменитая древняя редкость, сохранившаяся до последних дней.

[^^^]

Так называли новгородцы литовских рыцарей.

[^^^]

Персидским.

[^^^]

15

В описываемое нами время строжайшим указом запрещено было пить в будни.

[^^^]

Суд для рабов.

[^^^]

Денежная пеня.

[^^^]

Траурном.

[^^^]

Повозка для покойников.

[^^^]

Плакальщики.

[^^^]

Моровая язва.

[^^^]

Эти орудия составляли русскую артиллерию до 1460 года.

[^^^]

Пушки.

[^^^]

Род дудки — старинный инструмент.

[^^^]

25

В гривне их считалось 50, каждая из них стоила 20 коп.

[^^^]

Вследствие торго с иностранцами, в России в то время были в обращении монеты разных стран.

[^^^]

Хлебная мера того времени.

[^^^]

Новгородский житель, тайный доброжелатель великого князя Иоанна, заколотивший 55 пушек своих земляков, за что был мучительно казнен правителями Новгорода.

[^^^]

То есть в милости.

[^^^]

Первая супруга Иоанна была тверская княжна.

[^^^]

Верховые.

[^^^]

Ливонцы — название того времени.

[^^^]

Озеро новгородское, в котором потонуло много людей во время сражения с Иоанном в 1471 году.

[^^^]

В гривне их считалось 25.

[^^^]

То есть крепостных вечных, временных и на-
нятых.

[^^^]

Нынешние мещане.

[^^^]

Так назывались продавцы мелочных товаров.

[^^^]

Цеховые или мастеровые люди.

[^^^]

Баннѣй.

[^^^]

Конюшенный.

[^^^]

Где теперь здание судебных установлений.

[^^^]

Верховые.

[^^^]

Должность, соответствующая должности гоф-
маршала.

[^^^]

А. Н. Майков — «Иван III».

[^^^]

Предохранительный лист для свободного
приезда в Москву.

[^^^]

То есть объявление войны.

[^^^]

15 500 рублей.

[^^^]

Конюшие.

[^^^]

Заведующие уборкой комнат.

[^^^]

Нынешние камер-юнкеры.

[^^^]

Оплечья.

[^^^]

Этажерка.

[^^^]

Великий князь Иоанн III первый ввел обновление целование монаршей руки.

[^^^]

Этот образ вывезла из Рима великая княгиня
Софья Фоминишна.

[^^^]

Придворных.

[^^^]

Герольдам.

[^^^]

Крепость Ниеншанц была на месте Петербурга, на болотистых и лесистых берегах Невы.

[^^^]

То есть ползком.

[^^^]

Род биллиарда.

[^^^]

Ныне крепость Шлиссельбург, основана в 1324 году великим князем Юрием Даниловичем и названа «Орешком», по кругловатости острова, на котором она построена. Лавонцы, завладевшие ею, назвали ее Нотебургом.

[^^^]

Вперед.

[^^^]

Свирели или флейты.

[^^^]

Или бубны.

[^^^]

Завесными они назывались потому, что завешивались ремнем за плечи. Были еще затинные пищали. Затинь — слово старинное, означает заряд. Затинщики — артиллерийские служители, помощники пушкарей. Затинные пищали были собственно мелкокалиберные пушки; их заряжали с казенной части.

[^^^]

Сулицы — род малого копья.

[^^^]

У великих княгинь были собственные дворы, воеводы и часть войска.

[^^^]

Н. М. Карамзин. «История Государства Российского». Т. VI.

[^^^]

Н. М. Карамзин. «История Государства Российского». Т. VI.

[^^^]